Эгон-Эрвин Киш

# РАССКАЗЫ О СЕМИ ГЕТТО

Salamandra P.V.V.



**Salamandra P.V.V.**

Эгон Эрвин
КИШ

# РАССКАЗЫ О СЕМИ ГЕТТО

Salamandra P.V.V.

**Киш Э. Э.**

Рассказы о семи гетто. Пер. с нем. А. С. Бобовича. Обл. и гравюры на дереве С. Б. Юдовина. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2022. — 95 с., илл.

«Рассказы о семи гетто» — авторский сборник очерков и рассказов мастера художественного репортажа, прозаика и драматурга Эгона Эрвина Киша (1885-1948). В этих произведениях, собранных в книгу в 1934 г. после изгнания автора из нацистской Германии, Киш не скрывает своих коммунистических симпатий, но никогда не утрачивает зоркость зрения, создавшую ему славу «неистового репортера» и одного из наиболее выдающихся журналистов XX века. Вошедший в книгу очерк «В поисках Голема» можно смело причислить к вершинным достижениям Киша.

Сборник «Рассказы о семи гетто», вышедший на русском языке в 1937 г., переиздается впервые.

Эгон Эрвин Киш



# РАССКАЗЫ О СЕМИ ГЕТТО

# НУ ВОТ, ЭМИГРАНТ, ПОКА АМСТЕРДАМ



С фронтона Антониускерк к народу на Ватерлоо-плейн простирает руки Христос: «Господа, — взывает он, — идите ко мне. Я могу предложить вам такие же точно товары, как и те, которые до сих пор вы приобретали в торговом доме Моисея и Аарона, но только мои материалы элегантнее, чем материалы ваших поставщиков».

Рядом с ним как свидетели его призывов и клятв стоят высокие, выше натурального роста, длиннобородые, похожие на евреев фигуры священнослужителей, которые с успехом могли бы сойти за Моисея и Аарона, хотя они изображают, по-видимому, Петра и Павла. Так или иначе, но стоят они там неподвижно — по правую руку и по левую руку — и ничем, ни единым жестом не протестуют против начертаний золотыми буквами старинного шрифта, утверждающих тождество обеих религий «Quae fuit a saeclis sub signo

Moysis et Aaroni stat salvatori renovata illustrior aedes»[1]. А внизу, под этой рекламой, в рыночной сутолоке толпятся те, к кому она обращена, то есть амстердамское гетто. И нет никого, кто бы имел уши, дабы слышать, о чем с каменным терпением глаголет этот человек, и никого, кто имел бы глаза, дабы видеть, что именно начертано на церкви.

И еще настойчивее, чем Христос, зазывая к себе покупателей, простирают руки лавочники-евреи, еще темпераментнее расхваливают они свой товар, еще торжественнее клянутся, и прохожий углубляется в разглядывание выставленного на продажу добра; изображая полнейшее равнодушие, осведомляется он о цене, торгуется, уходит и возвращается снова.

Торговец, который чистит селедки и нарезает кусочками корнишоны, производит вокруг себя столько шума, точно его осаждает толпа покупателей, глазеющих на него с восхищением и почтительно, шепотом повторяющих его имя, покупателей, от натиска которых он вынужден защищаться: «Да, — кричит он высоким и тонким голосом, — да, да, я Гейман, и это знают все! Ведь Геймана все знают! Я таки да знаменит!»

Когда приближаются настоящие покупатели и Гейману необходимо переходить от слов к делу, заботу о поддержании его славы берет на себя его жена. Она поправляет «прическу» — эвфемистическое выражение для парика, — прикладывает руки ко рту и сообщает всему свету, что ее Гейман таки да знаменит.

«Alles on een dubbeltje»[2], — надрывается по соседству такой же высокий и пронзительный голос; его обладатель размашистыми, резкими движениями складывает в пачку листы почтовой бумаги и добавляет к ним карандаш, цепочку для часов из «американского золота» и одну конфе-

---

[1] «Храм, который от века пребывал под знаком Моисея и Аарона, обновленный и великолепный, стоит ныне во славу Спасителя» (*лат.*). (*Здесь и далее прим. из первого издания*).

[2] «За все только два стейвера» (*голл.*)

ту — и все это всего лишь за один dubbeltje. «Nuttige Kadoches», — слышишь ты, как он рекламирует свой товар, и это не по-берлински и не по-еврейски, но по-голландски и по французски и должно означать: практичные cadeaux[1].

Овощами и яйцами и фруктами, «кошерным растительным маргарином», рыбой и птицей и мясом — разумеется, «onder Rabinaal Toezicht»[2] — ведут торг на четырехугольником распластанной Ватерлоо-плейн; ржавые железные части, старое изношенное платье, разбитая мебель, бракованная, вся в желваках под глазурью, посуда, Verkoop van 2-e Handsch Gereedschappen en Bruikbare Materialen (продажа из вторых рук готовых изделий и годных к использованию материалов) — все эти отбросы Нидерландов вполне подходящий для рынка товар.

Так проходит каждый день от утренней зари и до вечерней зари в будни на Ватерлоо-плейн, в воскресенье — ради праздника — на Оуде-Сганс и на Уиленбургстраат. Лишь в субботу все отдыхает. В пятницу после обеда снимает Израиль свои палатки; шесты, на которых они установлены, полотнища, ящики и оставшиеся нераспроданными товары увозятся оттуда либо на ручных тележках, причем роль упряжных собак выполняют худые черноволосые курчавые мальчики, либо водой. Цваненбургвал — вал Шваненбурга — таково поэтическое название набережной, к которой пришвартованы отдающиеся в наем лодки, набитые доверху старым платьем и тряпьем, и гондолы с велосипедными частями (Амстердам — город евреев и велосипедистов, и к тому же не принимал участия в мировой войне). Покачивающийся на воде паром, наполненный совершенно голыми и ломаными манекенами, позы которых по отношению друг к

---

[1] Здесь непередаваемая на русский язык игра слов. Nuttig (*голл.*) — необходимый, полезный, практичный, Cadoches — на еврейском языке забота, обуза; cadeau — по-французски подарок; вместо «практичный подарок» получается «практичная обуза».

[2] Под наблюдением раввина (*голл.*).

другу не очень скромны, привлекает внимание и вызывает улюлюканье собравшихся у парапета зевак.

Если количество товаров невелико и их остаток может быть быстро запакован и унесен на руках в чемодане, владелец ларька не торопится покидать Ватерлоо-плейн. Теперь, когда конкуренция уезжает на колесах или отплывает водой, надеется он, наконец, выгодно обделать дела с помощью всевозможных распродаж «остатков», товаров «по особому заказу», «цен вне конкуренции», «премий к покупкам». Гейман по-прежнему все еще там, толпа, натиск которой он отражает криками: «Да, да, Геймана все знают», попрежнему отсутствует.

Огороженная проволокой середина Ватерлоо-плейн отдана детям для игр. Во время торга и после него здесь играют дети, тогда как их менее обеспеченные сверстники впрягаются в тележки или перерывают рыночные отбросы и все оставшееся на мостовой. Крики Геймана: «Я таки да знаменит», становящиеся под конец еще более пронзительными, чем раньше, доносятся и сюда. Но не его самохвальство причина тех волн зловония, которые время от времени заливают эту типичную для большого города детскую площадку, приютившуюся среди рыночной суеты.

Для малышей там насыпаны кучи песка, чтобы они могли в них конаться, для детей постарше устроены качели, для подростков — гимнастические снаряды. Самые старшие соревнуются в игре, состоящей и том, чтобы забросить мяч в корзину, укрепленную на высокой штанге; в обеих командах играют мальчики и девочки; девочки в коротких платьицах. Темп игры захватывает, ловкость играющих восхищает, и посетители рынка, с ворохом покупок в руках, охваченные спортивной горячкой, подолгу задерживаются у проволочной сетки.

Наконец, когда бьют башенные часы, на площади остается только Христос, который неутомимо простирает руки в сторону тех, кто готов признать, что его храм и храм, столетиями простоявший под знаком Моисея и Аарона и ныне обновленный и перестроенный в великолепное здание, — это одно и то же.

Но, боже милостивый, попытки обращения амстердамских евреев предпринимались еще тогда, когда они не были амстердамскими евреями. В Польше и в России пользовались при этом совершенно иными методами наставления на путь истинной веры, там применялись грабежи, насилия и погромы, в Испании и Португалии — подземелья, пытки и смерть на костре, и ничего, положительно ничего не добились.

Оштукатуренные алебастром синагоги Толедо были превращены в католические церкви, но прихожане их, изгнанные испанцами, построили в другом углу Европы новые синагоги. Недалеко от Ватерлоо-плейн друг против друга расположены два еврейских храма: «верхненемецкая синагога», основанная теми, кто бежал от ландскнехтов и солдатчины Хмельницкого, и португальская. Португальская синагога нисколько не походит, например, на пражскую Altneuschul, она ничем не напоминает этот съежившийся, стремящийся укрыться от посторонних взглядов молитвенный дом неполноправных, но, наоборот, представляет собою роскошное здание, своего рода иудейский собор. Она воздвигнута посреди реки и стоит на сваях или даже, как говорит легенда, на бочонках с червонным золотом. Ее неф круглыми, высеченными из гранита колоннами возносится вверх, в небо, подобно тем иберийским церквам, в которые сгоняли евреев для выслушивания проповедей с целью обратить их в христианство и для насильственного крещения. Возвышение, на котором находится алтарь, отделано бразильским палисандром. Это возвышение, или tuba, расположено посреди здания, и к нему, а не на восток, как в синагогах Запада, где молящиеся видят только спину священнослужителя, обращены концентрические ряды скамей. Здесь поворачиваются лицом к востоку лишь тогда, когда из общественной сокровищницы вынимают свиток Торы. Один из таких свитков вывезен с прежней родины, и беглецы несли его через Пиренеи подобно тому, как несут полотнище знамени после проигранной битвы.

Шестьсот тринадцать свечей горят во время богослужения, — это, разумеется, дорогой и несовременный способ,

но изменять здесь нельзя ничего, ибо так было в Гранаде, так было в Лиссабоне, и так должно остаться навеки. Из-за того, что так было в Гранаде и Лиссабоне, и здесь раввин надевает escarpins, то есть шелковые чулки и башмаки с пряжками, должностные лица общины — твердую иезуитскую шляпу с загнутыми полями, церковный сторож — воинственную треуголку, подобную той, которую некогда носила Guardia Reale[1], а теперь носит Guardia Civile[2], а регент, дирижирующий хором мальчиков-сирот, — бархатный берет, как если бы он был школяром из Сарагоссы.

По-португальски же на мраморной доске высечены имена старейшин, во время правления которых была построена синагога: Parnassimos Senhores Ishac Levy Ximenes, Mosseh Curiel, Abraham Jessurun d'Epinoza, Daniel de Pinto, Israel Pareira, Joseph de Azveldo, Zagachi Gabay Aboab de Fonzara, Semuel Vaz, Osorio da Veiga, Henriquez Costino se estron esl esnogo construida...[3] Молящиеся поздравляют друг друга с «boa entrada de Sabbath»[4], каковая формула напротив, у прихожан верхненемецкой синагоги звучит «gut Schabbes»[5], вместо праздничного пожелания «boa semana»[6] — на другой стороне улицы можно услышать «gut Woch»[7].

Молитва о здравии нидерландской королевы также читается по-португальски, и вообще строго соблюдается правило, согласно которому определенные формулы общинных документов должны быть составлены на языке тех, которые подвергали их предков всевозможным мучениям и затем,

---

[1] Королевская гвардия (*исп.*).

[2] Жандармерия (*исп.*).

[3] «Почтеннейшие синьоры Исаак Леви Шименеш, Мосса Курьель, Авраам Жессурун д'Эпиноза, Даниель де Пинто, Исраель Парейра, Жозеф де Асвельдо, Загаки Габай Ава де Фонсара, Семуель Ваз, Озорио да Вейга, Энрикез Костино построили эту синагогу» (*португ.*).

[4] Наступлением субботы (*португ.*).

[5] Доброй субботы (*евр.*).

[6] Доброй недели (*португ.*).

[7] Доброй недели (*евр.*).

наконец, изгнали; не менее бережно сохраняются также покрой платья, манеры и обычаи тех, кто заставлял побивать евреев каменьями сначала в Испании, а потом, во время первой эмиграции, в Португалии.

Там, на юге, из-за того, что они перед судилищем инквизиции отреклись от своей веры и продолжали исповедовать ее втайне, им дали позорную кличку «маранов», что означает примерно «скоты». Здесь, на новой родине, они изо всех сил стремились доказать, что ни один кабальеро не в состоянии превзойти их своей знатностью и ни один гранд — великолепием и грандеццой[1].

В нидерландских провинциях испанской короны протестанты-голландцы подняли знамя освободительной борьбы против католических узурпаторов, и жертвы инквизиции и нетерпимости могли рассчитывать на гостеприимный прием со стороны врагов их гонителей, тем более что они ушли со своей родины-мачехи не с пустыми руками, но, помимо свитков Торы, принесли также и развили заморскую торговлю с Левантом и Южной Америкой. В твердыне купечества, на реке Амстель, не было никакой «Juderia»[2], никакого обнесенного стенами и огороженного цепями еврейского квартала: каждый кредитоспособный человек пользовался всеми, без ограничения, гражданскими правами и мог беспрепятственно исповедовать свою религию, лишь бы она не была католической. Лишь один-единственный раз — это случилось в самом начале их пребывания в Нидерландах — в Амстердаме на евреев, которых в Иберии обвиняли в том, что они якобы под видом католического богослужения продолжают молиться по-своему, во время отправления ими религиозных обрядов было произведено нападение; впрочем, это произошло только потому, что эти обряды были приняты за католические.

Еврейские кабальерос держались в Амстердаме гордо и независимо; они обладали богатством и титулами; на их мо-

---

[1] Гордостью, надменностью, величием (*исп.*).
[2] Еврейский квартал (*исп.*).

гильных плитах и даже на чехлах для молитвенных мантий красуются родовые гербы. В комнатах музея, находящегося в здании старой городской важни, можно видеть агатовый нож для обрезания в футляре из тюленьей кожи, ларчики для пряностей из слоновой кости, брабантские кружевные чепцы для madrinie и padrinie, то есть матери невесты и матери жениха, вышивки жемчугом, украшенные драгоценными каменьями предметы религиозного культа и золотую пасхальную посуду. Эмигранты хотели, чтобы их считали могущественными, состоятельными и знатными людьми, и не кто иной, как Гёте, признал за ними все эти качества, хотя он никогда не сталкивался с португальской еврейской общиною, быть может, даже ничего о ней не слышал и во всяком случае не знал, что пишет именно о ней. В своей статье «Якоб ван Рюисдаль как поэт» описывает Гёте один уголок Амстердама; он изображает, сам того не подозревая, кладбище амстердамских португальских евреев на Оудекерк: «Примечательные и причудливые могилы разного рода, иногда напоминающие по форме саркофаги, иногда лишь большие вертикально поставленные каменные плиты, дают представление о могуществе церкви и о том, сколь знатные и богатые люди нашли успокоение в этом месте». Это кладбище все еще существует, и, хотя прямо к нему подходит трамвай № 8, оно по-прежнему сохраняет свой дико-романтический облик, и его вполне реалистическое описание можно легко признать фантазией поэта. Под древнейшими памятниками покоятся великие мира сего: Самуэль Палаше, посланник султана Марокко Мулай Сидана, Мозес Жеуда Беори, embaxador[1] Мухамеда IV при дворе шведского короля Карла IX, Мануель Тейшера, резидент королевы Христины Шведской при Ганзейском союзе, первые шлифовщики алмазов и известные ювелиры, как например Мануель барон Бельмонте, Курьель и Дуарте дель Пиас, купцы, плававшие между Бразилией и Нидерландами, импортеры кофе, табака, оливкового масла. На могильных плитах можно про-

[1] Посол (*португ.*).

честь имена и обнаружить гербы врачей, выучеников мавританской медицины, например Жозефа Буено, призванного к смертному одру принца Мауритца, его сына, медика Ефраима по прозванию «Bonus»[1], Гомеша де Зосса, лейб-медика инфанта Фердинанда, кардинала и наместника Нидерландов; здесь погребены также издатели литературы о путешествиях, переводчики Лопе де Вега и Сервантеса, теологи и философы и между ними доктор Семуель де Сильна, который своим «Tratado da Immortalidada da alma»[2], вышедшим в свет «anno criacao do mundo 5383» (1623)[3], [1] идеологически подготовил отлучение Уриеля да Коста. Уриель да Коста не вынес всей тяжести павшего на него проклятия; он отрекся от своих взглядов и потом, стыдясь своей слабости, покончил самоубийством. Следы того, с каким усердием раввины эмиграции тянулись за испанскими монахами в смысле богословской учености, нетерпимости и мистицизма, находим мы также и в старых изданиях общинной библиотеки, так называемой Livraria Montezinos, помещающейся в одном из небольших домиков, которые окружают синагогу своего рода крепостною стеной. Библиотекарь дон Сильва Роша не очень охотно демонстрирует свои сокровища и особенно издания, относящиеся к концу семнадцатого и началу восемнадцатого столетия, то есть ко времени деятельности Саббатая Цеви, выдававшего себя за мессию. Во всем еврействе никакая другая община не присоединилась к его учению с таким жаром и с такою готовностью следовать за ним, как спаниольская община в Амстердаме. Она надеялась, что этот бог поведет ее обратно в обетованную землю, и притом по тому же пути, по какому она пришла: сначала на Пиренейский полуостров, а потом — впрочем, тому, что будет потом, особой цены не придавалось — в Иерусалим. На первом этапе, в Кастилии, Арагонии или Португалии, возвратившиеся наконец на родину станут полноправными

---

[1] Добрый (*лат.*).
[2] «Трактат о бессмертии души» (*португ.*).
[3] От сотворения мира в 5383 г. (1623) (*португ.*)

дворянами со шпагой на боку и орденом Золотого Руна на груди. Аллилуйя!

Восточные евреи на другой стороне улицы никогда, конечно, не испытывали подобной тоски по покинутым местам; возвращение к царю не представляло собою ничего заманчивого, и они отнеслись к новоявленному мессии с недоверием, отвергли его призывы и предали его поношению. Подобное богохульство глубоко возмутило сефардов, и они еще фанатичнее уверовали в Саббатая Цеви; мужчины из духовного звания в знак того, что Царствие Божие снизошло на землю, стали каждую субботу благословлять общину (этот обычай сохранился и до сих пор), и старые молитвенники, которые с такой неохотой показывает дон Сильва Роша, украшены на титульном листе медной гравюрой: Саббатай Цеви, с короной на голове, восседает в облаках на престоле; от него исходит сияние, и ангелы с трубами возвещают: «Ты предвечный Господь наш Саббатай Цеви!»

— Аферист он, вот кто! — кричали с противоположной стороны площади Ионы Даниеля Мейера. — Обыкновенный жулик, который ввергнул амстердамское гетто в яростную борьбу исповеданий.

Если библиотека Montezinos доказывает интерес сефардов к литературе, наукам и теологии, если здание синагоги свидетельствует об их тщеславии, нашедшем в нем свое архитектурное выражение, содержимое витрин в старой городской важне — вкус к художественным изделиям, а памятники на Оудекерк — любовь к скульптуре, то для того, чтобы выяснить их отношение к живописи и искусству рисунка, нам необходимо посетить уже пятое по счету место, а именно — дом на Иоденбреестраат, в самом центре амстердамского гетто. В этом доме с начала 1639 и до конца 1657 года жил Рембрандт ван Рейн, почти единственный бюргер немецкой национальности среди множества средиземноморских и восточных евреев. Совершенно как он, задолго до него и вдалеке от него поселился также в самом сердце еврейского квартала эль Греко, чтобы видеть перед собой ожившие образы Библии, хотя носители этих образов уже начали укрываться под спасительной сенью Нового Завета.

В доме Рембрандта всегда толпились евреи, толпятся они там и сейчас; хотя великий хозяин его мертв — модели его живут. Предписания Моисеева закона запрещают его адептам изображать то, что находится наверху, в небе, или внизу, на земле, и, разумеется, также заказывать кому-либо подобное изображение. Но души эмигрантов были исполнены горечи изгнания и в то же время стремления подражать образцу высокопоставленных гонителей. Испанская знать заказывала свои портреты Веласкесу и эль Греко, изгнанники давали писать себя Рембрандту; они редко приходили к нему в качестве заказчиков, но они охотно уступали его желанию и позировали.

Таково происхождение портретов врача Эфраима Бонуса, философа Менассе бен Исраеля, раввинов и многих сотен еврейских типов, с которыми мы сталкиваемся в его гравюрах и картинах на библейские сюжеты. Среди них попадаются и женские фигуры, и они также представляют собой зарисовки обитательниц Иоденбреестраат или Оутграхт, как до битвы при Ватерлоо называлась Ватерлоо-плейн. Впрочем, «еврейская невеста» отнюдь не еврейская невеста, а чистокровная арийская племянница Рембрандта, равно как и жених рядом с ней совсем не еврейский жених, но сын художника Титус. Зато снующая у ступеней храма толпа длиннобородых людей в остроконечных шапках, изображенная на знаменитой гравюре «Синагога», действительно списана с натуры. Современники Рембрандта, сефарды и ашкенази, живут на его полотнах то в образе царя Саула и его арфиста Давида, то в образе Иакова, посылающего свое благословение, то как Аман и Эсфирь, то как слепой Велизар или Авраам, готовый к закланию своего сына.

Под стеклом и в рамках выставлены в осиротелой мастерской Рембрандта немногие выполненные им книжные иллюстрации — это листы к поэме в прозе его друга Менассе бен Исраеля, называемой «Pedro Precioso»[1]. Главным героем этой поэмы, как показывает название, является камень, на

[1] «Благородный камень» (*португ.*).

котором стоял Навуходоносор, и этот камень тождественен тому камню, который Давид бросил в Голиафа, и тому также, на котором спал Даниил, когда видел сон, и, наконец, тому, в который упиралась небесная лестница Иакова. На фигуре Навуходоносора изображена карта четырех персидских провинций, которой на медной гравюре Рембрандта не было. По каким-то нелепым каббалистическим соображениям ее дорисовал автор книги и типографщик Менассе, из-за чего Рембрандт пришел в ярость и порвал с ним всякие отношения.

Восемнадцать лет прожил Рембрандт на еврейской улице. В тот самый день, когда его кредиторы прислали должностных лиц, чтобы описать его имущество для последующей продажи с торгов, — это случилось 27 июня 1657 года, — был изгнан еще один обитатель гетто, по национальности еврей. Его, впрочем, изгнали единоверцы.

Увитые черным крепом, горели свечи в чеканных серебряных подсвечниках, в которых еще и поныне горят и отражаются субботние огни, и тот же рог, который и теперь еще возвещает начало и окончание больших праздников, сопровождал своим монотонным гудением чтение изгнанниками вынесенного приговора об изгнании:

«Да будет проклят он во все часы дня и будет проклят во все часы ночи. Да будет проклят он, когда ложится отдыхать, и будет проклят, когда подымается на работу. Да будет проклят он, когда выходит на улицу, и будет проклят, когда возвращается. Пусть гнев и ярость Господа Саваофа восстанут на него, и Господь Саваоф сотрет его имя под небом навеки и навсегда».

Изгнанником этим был Борух Спиноза, и имя его в веках не стерто, хотя среди мозаики еврейских фигур, отобранных Рембрандтом из окружавшего его моря еврейства и запечатленных им навеки и навсегда, изображения Спинозы обнаружить не удалось. Учителем Спинозы был тот самый Менассе бен Исраель, портрет которого оставил Рембрандт и книгу которого он иллюстрировал. Покровителями Рембрандта и Спинозы были отец и сын Гюйгенсы. Константин Гюйгенс открыл талант Рембрандта среди разва-

лин старой мельницы на Рейне и устроил сыну мельника заказы принца Мауритца Оранского; сын этого Константина Гюйгенса, Христиан, доставал Спинозе работу; он давал ему шлифовать линзы для микроскопов, с помощью которых ученые того времени, стремясь найти подтверждение своим гипотезам, начали настойчиво всматриваться в природу.

Лишь в нескольких шагах друг от друга жили Рембрандт и Спиноза. Встречались ли они или нет — неизвестно. На этот счет не сохранилось свидетельств, и не Рембрандт прославил имя Спинозы навеки; лишь Гёте, Маркс и Лассаль явили миру мощь и величие его духа.

Те, однако, которые его изгнали, горды его славой так же, как горды славой тех, от кого в свою очередь претерпели изгнание. Гордые, как испанцы, они заключают браки лишь между собой и с высокомерием взирают на misera plebs[1]. Они никогда, разумеется, не откликнутся на призывы Христа с Антониускерк, но еще в меньшей степени склонны они унизиться до смешения с восточными евреями по ту сторону площади Ионы Даниеля Мейера.

Во времена предков их как представителей нарождающегося торгового капитала поторопилось убрать с дороги феодальное дворянство Испании, подобно тому, как в другом конце Европы обремененная долгами польская шляхта натравливала на своих кредиторов эксплуатируемый ею народ. И южные сефарды и северные ашкенази, таким образом, в одинаковой мере жертвы своей торговой предприимчивости, жертвы зависти конкурентов. И тем не менее, спаниолы не скрывают своего пренебрежения крупной буржуазии к мелким буржуа, хотя эти последние — их единоверцы, их товарищи по несчастью и товарищи по изгнанию. Им представляется, что в бегстве от преследований испанской инквизиции заключается нечто возвышенное и благородное, тогда как в беженцах от погромов, даже по истечении трехсот лет, они все еще продолжают ощущать специфический запах бедного люда.

[1] Жалкая чернь (*лат.*).

Хотя многие из них уже давным-давно обеднели, хотя община с точки зрения имущественного положения распалась на различные слои, ничем друг с другом не связанные, тем не менее, они продолжают считать себя «благородными и состоятельными людьми». Гранильщики алмазов — пусть безработные — все еще сидят вместе с другими под люстрами синагоги и поэтому уверены, что они ни в чем не уступают прочим «parnassimos senhores» и своим предкам. Тот, кто скажет им, что они рабочие, кровно оскорбит их; против того, кто отважится заговорить с ними о пролетарской организации, они обнажат свои несуществующие шпаги. Они и потерявшие работу служащие кофейных и табачных экспортных контор — по крайней мере, люди старшего поколения — предпочитают ожидать нового Саббатая Цеви, который в один прекрасный день поведет их via[1] кофейная или табачная биржа на Аранхуес.

Ни один амстердамский сефард, как бы беден, даже нищ он ни был, не станет выставлять себя напоказ в качестве торговца — в будни на Ватерлоо-плейн, в воскресенье на Оуде-Сганс — и тем более заниматься самовосхвалением, как это делает какой-нибудь ашкенази, когда он орет во все горло свое: «Гейман таки да знаменит».

---

[1] Путем (*лат.*), употребляется в Зап. Европе в качестве почтового обозначения; например, via Париж — через Париж.

# ШИМЕ КОЗИНЕР (УНГОШТ) ПРОДАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК



О глупости торговца Шиме Козинера из Унгошта еще до сих пор ходит множество анекдотов, которые начинаются обязательной фразой: «Когда еврей дурак...»

При его жизни глупость его пользовалась еще более широкою популярностью, и господин Густав Дуб, рыжий Дуб, заранее потирал руки, узнав, что колея проектируемой железной дороги Прага-Буштирадер пройдет также и по земельному участку Шиме Козинера в Унгоште.

Тот, кто знал о блестящих связях господина Густава Дуба — а кто же о них не знал, — имел основание предполагать, что он сам уговорил главного инженера повести линию именно по этому направлению. Однако подобная догадка оказалась бы тем не менее несправедливой, ибо, если бы господин Густав Дуб, рыжий Дуб, действительно прикасался своими руками, о которых сказано выше, что он заранее

потирал их, к этому делу, он бы добился, чтобы в том месте, где стоял дом с вывеской «Симон Козинер. Торговля различными товарами», были возведены станционные здания. Таким образом, господин Густав Дуб, рыжий Дуб, всего лишь познакомился с планом дороги (кстати, строго секретным) и выяснил, что будущая колея заденет угол козинеровского дома, и вообще даже не дома, а только двора.

Каких-нибудь десять квадратных метров отхватывала железнодорожная линия от двора Шиме Козинера. Но господин Густав Дуб, рыжий Дуб, хорошо знал, что за этот клочок земли он сорвет с железнодорожного общества Прага-Буштирадер по крайней мере пятьсот австрийских гульденов, тогда как сам рассчитывал уплатить глупому Шиме Козинеру самое большее двести. Разницу в триста гульденов, потирая руки, господин Густав Дуб, рыжий Дуб, клал таким образом в свой карман.

Он отправился в путь, побывал у крестьян в Русыне, Гостивице и Иенече, скупил отрезанные от их наделов участки весьма причудливой формы («Только планом обладай, сможешь закупить весь край» — любил повторять он в подобных случаях) и к вечеру прибыл в Унгошт. «Торговля различными товарами Симона Козинера» была уже заперта, так что господину Густаву Дубу, рыжему Дубу, пришлось зайти на квартиру к ее владельцу.

— Мой муж в магазине и пишет, — сказала госпожа Козинер, — приходите, пожалуйста, утром. Во время работы его тревожить нельзя.

Это соответствовало действительности. Каждый вечер, после ужина, Шиме Козинер запирался у себя в лавке и, стоя за конторкой, что-то писал. В жилых комнатах в это время должна была царить абсолютная тишина, чтобы по вечерам и ночью, когда он работал, к нему не доносилось ни единого звука. Над чем же работал он? При его жизни этого не знал никто. Даже члены семьи и те знали только о том, что он истребил целую стопу отличной министерской бумаги, а также невероятное количество перьев рондо и царских чернил и что исписанные листы запирал в ящик, ключ от которого не доверял даже жене.

Относительно содержания своих трудов он обычно молчал и лишь изредка, как бы бросая намек, многозначительно оттягивал нижнюю губу и медленно изрекал весьма мудрую сентенцию: «Философия — это великая вещь».

Лишь после смерти Шиме Козинера таинственный ящик был вскрыт. Оказалось, что в нем хранились тысячи списков гейневской «Лорелей»; иные из них были выполнены крупным размашистым почерком, иные мелким и бисерным, и все — с исключительно замысловатыми росчерками заглавных букв; особенно в этом смысле повезло букве Н, с которой начинается стихотворение: и сверху и снизу ее заканчивало от восьми до десяти концентрических кругов, составлявших в целом причудливый и затейливый росчерк. Под каждым экземпляром стихотворения было поставлено имя автора: «Симон Козинер. Унгошт, почтовое отделение Кладно».

Имя свое он, по-видимому, очень любил: несколько сот листов, исписанных с обеих сторон, не содержали в себе ничего иного, кроме его подписи в бесконечном количестве вариантов; тут встречалась подпись Симона Козинера прямым почерком, и она же — косым, курсивом и готическим шрифтом, без упоминания местожительства и с обозначением Унгошта, без указания ближайшего почтового отделения и с весьма лаконичной пометкой: «Почтовое отделение Кладно».

Содержание интеллектуальной деятельности Шиме Козинера и после его смерти осталось бы, разумеется, неразгаданной тайной, если бы наследники не решили продать его поэтическое наследство на макулатуру, благодаря чему в продолжение многих лет во всей округе нельзя было купить ни одного ольмюцкого кваргеля[1] и ни одной пачки Рокс-дропса[2] без того, чтобы не вспомнить о Симоне Козинере из Ун-гошта и о сказке старых времен, которая «давно не дает мне покоя».

---

[1] Острый сыр, который кладут в пиво (*австр.*)

[2] Название распространенного сорта леденцов.

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, уже тогда, когда прибыл в Унгошт с планом проектируемой железной дороги Прага-Буштирадер в кармане и с намерением купить угол двора площадью в десять квадратных метров, не верил в ценность и неотложность ночных трудов Козинера и потому не удовлетворился предложением фрау Козинер прийти на следующий день. Он до тех пор — и притом упорно и громко — настаивал перед фрау Козинер на необходимости сегодня же поговорить с главою семьи, пока Шиме Козинер не спрятал начатую рукопись своей «Лорелей» в ящик стола и не отворил двери своей духовной лаборатории. Теперь гость мог войти в магазин.

— Я намерен приобрести в ваших краях участок земли, — начал господин Густав Дуб, рыжий Дуб, — и, так как о вас, господин Козинер, идет молва, что вы самый мудрый человек во всей округе, я хотел бы предварительно выслушать ваш совет.

— Ну что ж, спрашивайте. — Шиме Козинер ни в малейшей степени не был польщен. Ведь он и так знал, что пользуется славой мудрейшего человека в округе.

Господин Дуб подошел к витрине, уставленной мешочками с мукой, манной крупой и сухими винными ягодами, и посмотрел на нее. Особенно бросилась ему в глаза банка с мелкими сельдями. Становилось прохладно; темнело.

— Там, напротив, я мог бы выстроить себе домик. Не знаете ли вы случайно, кто владелец этого поля?

— Оно принадлежит крестьянину Вейводе, и он продаст его без долгих разговоров. Земли у него слишком много, а денег — слишком мало... Вы должны только заплатить.

— Ага, я понимаю, господин Козинер: я должен только заплатить. Здорово сказано! Значит, если я ему заплачу, он продаст мне свое поле, если же я ему не заплачу, он мне его не продаст.

— Вот именно. Если вы ему не заплатите, он вам его не продаст.

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, одобрительно кивает головой.

— А как вы полагаете, сколько Вейвода может запро-

сить за свою землю?

— Чем больше денег вы ему предложите, тем охотнее он ее продаст, и это говорю вам я, Симон Козинер из Унгошта.

— Так, так, очень интересно! Я счастлив, господин Козинер, что обратился к вам за советом!

Козинер скромничает:

— Прошу вас, я ведь знаю здешних людей. Я всегда повторяю жене: кто из Унгошта, тот меня не проведет.

— Здорово, — смеется господин Густав Дуб, рыжий Дуб, — здорово сказано! Но я полагаю, господин Козинер, что вас не провести и тому, кто не из Унгошта!

— Пожалуй, хоть немножечко все-таки знаю людей.

Господни Густав Дуб, рыжий Дуб, пристально смотрит в окно.

— Но во всем этом есть и отрицательная сторона, — говорит он. — Я бы не хотел, чтобы с улицы можно было засматривать в мои окна. Я бы не хотел также, чтобы прохожие спрашивали: кому принадлежит эта вилла? — Пауза мнимого раздумья. — Если бы я мог вытянуть фасад, прихватив небольшой участочек вашего двора, тогда мой дом был бы прикрыт со стороны улицы вашим.

— Моего двора?

— Крошечный кусочек. Вероятно, каких-нибудь десять квадратных метров. Ну, скажем, вон там, до курятника.

Господин Козинер не раздумывает — двор достаточно велик, и будут ли стоять отхожие места и курятник в одном углу или в другом, нс все ли равно.

— Если вы заплатите, почему нет?

— Заплатить, заплатить! Но что же я могу заплатить за кусочек двора?..

— Так. Это говорите вы. А я, я привык к тому, что вон там навозная куча, там наша уборная, — видите ли вы сердце на двери? Я вырезал его собственными руками перед самой свадьбой, чтобы у жены всегда было перед глазами доказательство моей горячей любви.

— Вы это вырезали сами?

— Да, собственноручно, и притом это сделано так, как

будто работал настоящий столяр. Впрочем, вы должны посмотреть на мою работу при дневном свете.

— Поистине ловко придумано! Однако, мы болтаем с вами о пустяках; сколько вы хотите за уголок двора?

— Меньше чем за двенадцать гульденов я его не отдам; столько стоил он мне самому.

Господин Дуб, рыжий Дуб, с трудом удерживается от смеха. Тем не менее, он подавляет улыбку, ибо на него вопросительно смотрит Шиме Козинер, чтобы выяснить, не слишком ли много он запросил («Два гульдена, — думает он, — я, пожалуй, еще уступлю»). Однако господин Густав Дуб, рыжий Дуб, не собирается торговаться. На покупке стоимостью в двенадцать гульденов заработать не менее четырехсот восьмидесяти восьми — такая прибыль вполне достаточна.

— Так как это вы, господин Козинер, и так как вы вырезали сердце на клозетной двери, я согласен.

Козинер бьет по рукам, но при этом все еще боится, что продажа может расстроиться:

— А если завтра вы не купите участка у Вейводы?

— Это не играет никакой роли. Мы ударили по рукам, и дельце наше закончено.

— Итак, дельце наше закончено. Когда же я смогу получить причитающиеся мне гульдены?

— Мы можем составить контракт сейчас же, и вы незамедлительно получите свои деньги.

— Я всегда повторяю жене: когда дают — бери, когда отбирают — кричи.

— Замечательно сказано! Где же у вас, однако, перо и чернила?

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, вынимает из кармана гербовый бланк, наклеивает на него марку пятнадцатикрейцерного достоинства и собирается приступить к делу. Впрочем, писать может и Козинер, и мы, зная о его страсти к писанию по оставшемуся после него наследству, могли бы и сами легко догадаться об этом.

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, диктует и Шиме Козинер пишет, испытывая блаженство, потому что он может писать и потому что получит двенадцать гульденов. Не за-

думываясь, повторяет он вслед за Дубом все оговорки, о которых до сих пор не упоминалось ни слоном, все фразы, в которых ровно ничего не смыслит, все данные поземельных книг, детальное знание которых человеком новым для этих мест его нисколько не смущает, и все это, вместе с совершенно невиданными доселе росчерками и завитушками, наносит на бумагу.

Дуб *(диктуя):* «Я, нижеподписавшийся, Симон Козиннер в Унгоште, единоличный собственник земельного участка под номером по кадастру 734с... запятая, раздел римскими цифрами четвертый, страница 39-я окружной поземельной книги...»

«...римскими цифрами четвертый, страница 39-я окружной поземельной книги...» — пишет Шиме Козинер и не удивляется тому, что номер его земельного участка известен приезжему посетителю.

— «...настоящим с сегодняшнего дня передаю во владение господину Густаву Дубу, посреднику по продаже недвижимостей, проживающему в Вейнберге, около Праги...»

— «Посреднику по продаже недвижимостей», — повторяет Шиме Козинер, и даже наименование профессии покупателя не вызывает в нем никаких подозрений.

— «...За полученную мною наличными деньгами продажную цену в сумме двенадцать флоринов — словами: “двенадцать австрийских гульденов”, — примыкающую к недвижимости номер по кадастру сто двенадцатый крестьянина Болеслава Вейводы...»

«...номер по кадастру сто двенадцатый крестьянина Болеслава Вейводы...» — и вопрос о том, каким образом посетитель знает имя крестьянина напротив, даже не возникает в мозгу пишущего.

— «...часть моего двора площадью в десять квадратных метров и заявляю, что, буде цена этого участка повысится или он будет перепродан казне или какому-либо обществу...»

— «...буде цена этого участка повысится или он будет перепродан казне или какому-либо обществу...»

— «...на каковые возможности господин Густав Дуб спе-

циально обратил мое внимание...»

— «...специально обратил мое внимание...»

— «... не стану предъявлять никаких претензий и возбуждать протест».

— «...возбуждать протест...»

— «Регистрация сделки имеет быть совершена завтра утром господином Густавом Дубом в окружном суде в Кладно». Новая строка: «В удостоверение чего...»

— «...в удостоверение чего...»

— «...и было составлено настоящее заявление».

— Как! — Шиме Козинер вскакивает со своего места. — Как!

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, повторяет:

— «...и было составлено настоящее заявление».

— Как! Что означает «было»?

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, повторяет еще раз:

— «...было написано мною настоящее заявление».

Шиме Козинер теряет покой:

— Что означает «было»? Что это еще за «было»?

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, закусывает губы, чтобы не рассмеяться, и бросает:

— Вы не знаете, что значит «было», господин Козинер?

— Нет! «Не знаю, что значит такое, что скорбью я смущен...» — Он прочел бы, конечно, все стихотворение целиком, если бы господин Густав Дуб, рыжий Дуб, снисходительно не прервал его и не принялся объяснять, что «было» — это всего-навсего лишь безобидный вспомогательный глагол. Шиме Козинер, однако, вне себя и не слушает его вовсе:

— О «было» мы с вами совсем не уславливались, о «было» не упоминалось ни словом, а теперь вы хотите всучить мне это самое «было» в договор! Что это еще за «было»?

— Хорошо, хорошо, успокойтесь! — Господин Густав Дуб готов опустить это слово: — Итак, пишите: «и написано мною настоящее заявление...»

Однако достаточно было пробудиться первому подозрению; возбуждение Шиме Козинера растет, переходит в ярость, и уже ничто не в силах его остановить:

— Мы больше не будем писать! — кричит он и рвет договор в клочья. — Что за «было»?

Он бьет кулаком по прилавку.

— Вы хотели всучить мне какое-то «было», приехать сюда из Праги со своим «было», рыжий хлюст. Вон отсюда!

— Но, господин Козинер, подумайте все-таки...

— Подумать... Мне незачем думать! Вы мошенник! Вы... преступник! Вон!

Содрогаясь от гнева, сжимая кулаки, стоит он так против Дуба:

— Вон! Или я изобью вас, как собаку... Вы... вы мерзавец, вы каторжник, вот кто вы такой! Вы. . . вы... вы... «было»!

Господин Густав Дуб, рыжий Дуб, бледный и перепуганный, протискивается через дверь в жилые комнаты. Он хочет поговорить с фрау Козинер, объяснить ей, в чем дело, но позади него появляется дико вращающий глазами Шиме Козинер.

— Вон, говорю вам! Вон из моего дома. Вы... рыжий пес, или...

Что оставалось делать господину Густаву Дубу, рыжему Дубу, как не обратиться в бегство? Он это и сделал.

Шиме Козинер возвращается обратно в магазин и запирает за собой дверь. Из ящика достает он прерванный приходом Дуба список «Лорелей». Он хочет писать дальше: «...дикой тоской полонит», но рука его все еще вздрагивает. Он подбегает к витрине, отворяет ее и бросает на пустынную и темную улицу, в ту сторону, куда удалился господин Дуб, рыжий Дуб, гирю в килограмм весом.

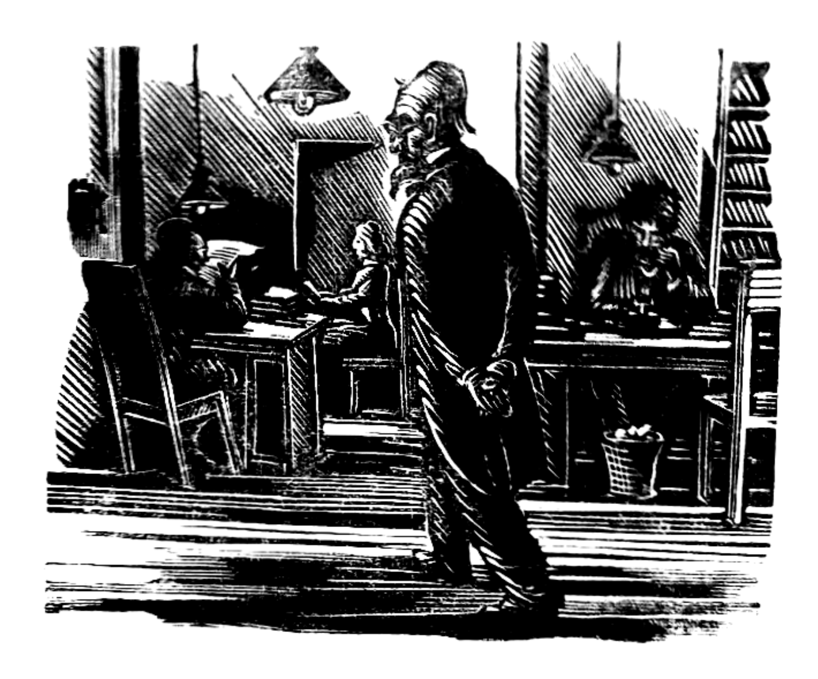
— «Было», — кричит он ему вслед, — я тебе покажу, что значит «было»

Затем он подходит к своему рабочему столу, берет незаконченный список и продолжает:

...Дикой тоской полонит,
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.

«Было» все еще стреляет у него в голове, и росчерки получаются не такие затейливые, как обычно, но постепенно они становятся все непринужденнее и спокойнее, и в строке «Пловец и лодочка» они опять округлые и уверенные; подпись «Симон Козинер, Унгошт, почтовое отделение Кладно» выглядит уже совершенно нормально, и через месяц он продает угол своего двора площадью в десять квадратных метров обществу железной дороги Прага-Буштирадер по судебной оценке за двести гульденов.

# ЛОБИНГ, РЕДАКТОР НА ПЕНСИИ



Лобинг, редактор на пенсии — если бы старый Лобинг узнал, что эти четыре слова относятся именно к нему, он бы немедленно ответил на них яростным опровержением: во-первых, он не Лобинг и, во-вторых, не редактор на пенсии. Подобное заявление с его стороны пришлось бы счесть окончательным и неоспоримым, ибо каждый из нас лучше всего знает сам, как его зовут и какова его профессия.

Но только как раз в отношении Лобинга, редактора на пенсии, это рассуждение несправедливо.

Впрочем, не всегда было так. Более сорока лет сряду он был настоящим, активным редактором и носил имя Леви; большее число вечеров, чем сорок, умноженное на триста шестьдесят пять, обсуждал он какое-либо известие или отстаивал какую-либо точку зрения, иногда с возмущением, иногда благодушно и наставительно, пока все вместе не со-

ставляло ровно двух столбцов, по сто строк в каждом, начинавших собою первую страницу газеты. В последней трети девятнадцатого столетия ни одно значительное и незначительное событие не обошлось без комментариев редактора Леви. В каждой его передовице по поводу образа действий того или иного государства пылало знакомое подписчикам вдохновение, и читатель, за утренним завтраком или гделибо в другом месте, кивая одобрительно головой, отдавался на его волю и бормотал: «Здорово он их сегодня отделал!»

Леви был строг, но справедлив. Правда, он больно стегал своих тогдашних противников, но в то же время в его статьях не ощущалось недостатка и в благожелательных советах, и эти последние излагались таким возвышенным, таким торжественным слогом, что даже враждебные всему европейскому мандарины китайской императрицы, французский генерал Мак-Магон или строители Суэцкого канала, если бы им довелось познакомиться с соответствующими передовицами Леви, не смогли бы, конечно, пройти равнодушно мимо последней, двухсотой строчки, частенько заключавшей в себе грозное «caveant consules»[1].

Они с ними, однако, не познакомились и пусть пеняют за последствии на себя. Кроме того, они испытали бы еще эстетическое наслаждение, ибо Леви, как никто другой, умел даже простейшее утверждение бросить в лицо всему миру вдохновенно, веско и язвительно. «Поистине никогда, — предсказывало ого остро отточенное перо накануне битвы при Кенигреце, — поистине никогда трусливые орды дошедшего до неслыханного позора прусского народа не осмелятся привести R исполнение визгливые угрозы этого безмозглого крикуна Бисмарка и поднять свое заржавленное оружие против закаленной в победах могущественной монархии, войско которой, проникнутое возвышенным духом отца нашего Радецкого, встретит вильгельмовскую солдатчину вторыми Кумами».

[1] Пусть блюдут консулы (*лат.*) — слова Цицерона из речи против Катилины.

Вот такое и подобное ему возвещал Леви в продолжение сорока лет изо дня в день. Когда он за этим занятием, ежедневно от девяти до двенадцати ночи, восседал за своим рабочим столом, никто не решался обратиться к нему хотя бы с единым словом, ибо Леви всякому, кто нарушал возвышенный строй его мыслей, кричал высоким, визгливым голосом: «Для вдохновения мне нужен покой!»

Даже известия, имевшие прямое касательство к передовице, над которою он трудился, выслушивал он во время творческого акта лишь в случаях крайней необходимости. Он глубоко ненавидел телеграф и телефон; в его глазах они были исчадиями Люцифера, ниспосланными этим князем тьмы затем, чтобы выворачивать наизнанку тончайшим образом отшлифованные логические посылки передовицы и таким способом выбивать почву из-под только что достигнутых железных выводов.

По отношению к новшествам, не угрожавшим его передовицам непосредственной опасностью, Леви был вполне современным человеком, и даже изобретение автомобиля вызвало с его стороны благожелательный отзыв, хотя он при этом не преминул, разумеется, внести в свои похвалы известные ограничения: «Средством передвижения, — писал он, — автомобиль не станет, однако, никогда».

Еще больше, чем телеграф и телефон, ненавидел он «чертово фортепиано». В эпоху ручного набора радикальная перекройка передовицы была невозможна хотя бы потому, что труд наборщика отнимал как раз столько же времени, сколько требовалось Леви для ее сочинения. Когда, однако, установили первое «чертово фортепиано», то есть наборную машину, с неприступностью передовицы в отношении всяческих посягновений пришлось распрощаться. Каждое известие, как бы поздно оно ни поступало в редакцию, таило в себе возможность быть втиснутым в передовицу. И, разумеется, не самим Леви. Ему, который в продолжение сорока лет ежедневно ровно в полночь покидал редакционные комнаты с чувством выполненного долга и спокойной уверенностью, что им дано миру правильное, политически мудрое освещение событий, теперь наутро неоднократно при-

ходилось читать в качестве передовицы нечто такое, что не имело ничего общего с написанным им накануне.

Изменились времена, и на передний план выдвинулось новое поколение политических журналистов, которые свое самодовольство и тщеславие скрывали под маской цинизма и насмешки над собой. Эти ловкие и шумные ребята сумели снискать расположение новых издателей, к которым после смерти отца перешло дело и которые стремились доказать, что до сих пор газета велась как попало, без твердого направления. Прежде всего, им не понравились еврейские фамилии персонала редакции: Поляк, Кон и Леви, и они взамен некой услуги главе правительства добились разрешения изменить фамилии всех трех редакторов.

Старый Леви в связи с этим стал называться не Леви, а Лобингом. Поскольку он, однако, упрямо продолжал именовать себя «Леви» и поскольку издатели в один прекрасный день обнаружили, что он неизменно расписывается в квитанционной книге именно так, им вспомнилось, что его попросту забыли известить о перемене фамилии. Тогда же решено было оставить его в покое и не сообщать старому Лобингу, который сначала все реже и реже привлекался к писанию передовиц, а затем и вовсе был отстранен от этого дела, что он увольняется в отпуск на вечные времена.

Таким образом, Лобинг, редактор на пенсии, не знал ни того, что его зовут Лобингом, ни того, что он редактор на пенсии.

Первого числа каждого месяца он получал свою пенсию, будучи уверен, что получает обычное жалованье.

В промежутке между этими датами он, как всегда строгий и исполненный собственного достоинства и как всегда на котурнах, на которых он некогда на протяжении двухсот строк сопровождал события дня, проводил все свое время в редакции, измеряя шагами ее помещения и пребывая в готовности по первому требованию сесть за передовицу.

Поначалу редакционная молодежь устраивала себе развлечение, задавая ему вопросы по поводу злободневных событий, о которых он не имел ни малейшего понятия, и потешалась над его высокопарными ответами. Потом смеш-

ное перестало быть смешным, и старику предоставили возможность торжественно и спокойно обходить редакционные комнаты. О чем он думал, что переживал, об этом не знал никто. Так продолжалось вплоть до одного летнего дня 1923 г., когда некий молодой редактор, от нечего делать или просто из озорства, обратился к Лобингу с вопросом:

— Что скажете вы по поводу уничтожения смертной казни?

Лобинг прервал свое шествие старого льва, заложил руки за спину и ответил встречным вопросом, о котором легко догадается всякий, кто хоть один-единственный раз читал его передовицу. Подняв вопросительно брови и возвысив голос, он спросил:

— А откуда вы располагаете этим известием?

— Таково постановление парламента.

Он поднял палец:

— Следует, однако, помнить, что всякое предложенное парламентом изменение в конституции или законах нуждается прежде всего в одобрении императора.

— Какого императора? — воскликнул его озадаченный этим ответом коллега.

Наставительным тоном и в то же время предусмотрительно избегая назвать имя царствующего государя, Лобинг сказал:

— Его апостолического величества императора австрийцев, короля Венгрии, короля Богемии...

Он, без сомнения, продекламировал бы весь большой титул, но его коллега не дал ему дойти даже до короля лодомирского и иллирийского, не говоря уже о владетельном графе тирольском, властелине Герца и Градиски или короле иерусалимском, и прервал его:

— Но ведь у нас больше нет императора!

— Не ослышался ли я? Больше нет императора? Что же у нас теперь есть, позволительно спросить в таком случае?

— У нас республика.

Лобинг испытующе посмотрел на своего собеседника:

— Сколько же времени существует в нашей стране, как вы утверждаете, форма правления римской res publica?

— В продолжение пяти лет.

Лобинг пожал плечами:

— Странно и непостижимо. — Он круто повернулся и, взволнованный, возобновил свой непрерывный обход редакционных помещений.

Изумленным взглядом смотрел инициатор этой беседы вслед старику, который некогда подробнейшим образом и категорическим тоном обсуждал все события своего времени, а теперь не имеет даже представления ни об окончании мировой войны, ни о свержении монархии. «Быть может, я выложил все эти вещи слишком прямо, слишком бесцеремонно и, тем самым поставив его в необходимость обнаружить передо мной столь позорное невежество, заставил страдать?» — думал он.

Он поторопился за Лобингом в соседнюю комнату и, чтобы как-нибудь загладить свою неловкость, сказал:

— Но, господин Леви, вы, разумеется, великолепно осведомлены, что у нас республика; вы хотели только подшутить надо мной.

— Нет, — отрезал на полуслове Лобинг, редактор на пенсии, — нет, — и в нем прорвались накапливавшиеся целое десятилетие старая обида по поводу отстранения от дел, горечь и желчь,— нет, я действительно этого не знал. Я в этой редакции как пятое колесо к телеге. Мне не сообщают здесь ничего!

И, прокричав это, он сжал кулаки и погрозил ими в направлении врагов, которые скрыли от него события такой исключительной важности.

# EX ODIO FIDEI[1]



Внутри Тейнкирхе[2], и это вполне достоверно, погребен мальчик по имени Симон Абелес. Если войти в церковь через главные двери со стороны Ринга[3], то в правом нефе, под хорами, можно увидеть темную и вросшую в землю могильную плиту какого-то бюргера; под нею, решительно и настойчиво заявляет причетник, покоится медный гроб Симона Абелеса. Между тем, согласно старинным хроникам, он должен находиться в крестовом приделе, и притом с той стороны алтаря, где хранятся послания, неподалеку от гробни-

---

[1] Из ненависти к вере (*лат.*).
[2] Старинная церковь в Праге.
[3] Кольцо (*нем.*) Alstädter Ring — площадь в Праге, центр старого города.

цы Тихо де Браге, под мраморною плитой, на которой высечены двадцать четыре строки латинского текста:

«Симон Абелес, двенадцатилетний еврейский мальчик, последовал за Господом и в сентябре 1693 года святого крещения ради укрылся в Клементинской коллегии общества Иисуса; через несколько дней его предательски выманили из-под гостеприимного крова, и он, претерпев в родительском доме издевательства, угрозы, побои, голод и строжайшее заключение, явил себя сильнее, чем все это взятое вместе, и 21 февраля 1694 года погиб от руки отца и его друга. Втайне зарытое тело его на шестой день было извлечено из земли и подвергнуто властями обследованию, и вплоть до закрытия гроба от него не исходило никакого неприятного запаха, и было оно естественного цвета и совершенно не тронуто тлением, и приятно на вид, и сочилась из него розовая кровь. Из ратуши старого города с необыкновенною пышностью и при небывалом стечении и умилительном участии народа его перенесли сюда и здесь погребли в марте сего 1694 года».

В ризнице Тейнкирхе висит портрет: елейно идеализированный еврейский мальчик, красный камзол, белый парик, галантная шпага, распятие в руках и на картуше надпись: «Hic gloriose sepultus est Simon Abeles Catechumenus, ex odio fidei Christianae a proprio parente Hebraeo occisus»[1].

Погребение еврейского мальчика внутри христианской церкви имело место во время процесса, вызвавшего волнения и множество толков. Век тридцатилетней религиозной войны близился к концу. Внуки бунтовщиков, дефенестрантов[2], казненных, заключенных в тюрьмы и изгнанных из пределов страны, успели привыкнуть к новому дворянству, но-

[1] «Здесь во славе погребен Симон Абелес, катехумен (изучающий катехизис перед крещением), собственным отцом-евреем из ненависти к христианской вере убитый» (*лат.*).

[2] Разбиватели окон в Праге в 1618 г. С так называемой дефенестрации, т. е. погрома, учиненного протестантами, началась Тридцатилетняя война.

вым чиновникам, новому исповеданию и новому государственному языку. И тем не менее, где-то в глубинах сознания их продолжало точить унаследованное от предков и гнетущее чувство побежденных, которые должны подчиняться. Но разве все это было действительно необходимо? Посмотрите вокруг: евреи, преследуемые в течение стольких столетий, они и посейчас сохраняют свою религию и свои обычаи и язык. Братья из ордена Иисуса, прибывшие в качестве духовных гарнизонов завоеванной войсками страны, отлично понимали необходимость доказать всем иноверцам, что они глашатаи единственно душеспасительной церкви и, таким образом, враги не только «моравских братьев» и других протестантов, но и евреев. Густав Фрейтаг, прочитав по поводу случая с Симоном Абелесом небольшую брошюру иезуитских патеров Эдера и Христеля, вышедшую в 1694 году под названием «Мужественная твердость двенадцатилетнего мальчика...» и базируясь на ней, дает следующую характеристику этого громкого дела:

«Кто подвергнет беспристрастной критике рассказ иезуитов, тот найдет в нем нечто такое, о чем рассказчики желали бы умолчать. И кто с отвращением взирает на фанатичных убийц, в том не встретят сочувствия и фанатичные священники. С помощью шпионов и доносчиков, угроз и разжигания фантазии они рекламируют своего Бога, который ничем не напоминает Бога Евангелия, и собирают для “омовения” толпы прозелитов; они с ловкостью опытных режиссеров используют жуткое убийство для того, чтобы разыграть на сцене подлинную трагедию, и труп еврейского мальчика, чтобы пышностью, мишурой и многолюдными процессиями, а если возможно и чудесами, обратить в свою веру христиан и евреев. Их фанатизм в союзе с городскими властями и произволом закона противостоит фанатизму оплеванного, преследуемого, страстного и порывистого народа, — коварство и насилие, беззаконие и извращенная мораль как здесь, так и там».

Приговор нашего историка культуры, вне всякого сомнения, оказался бы для иезуитов еще более грозным, если бы он, кроме этой брошюры двух орденских братьев, пока-

завшейся ему весьма подозрительной, прочитал также и официальное изложение дела, изданное по приказу императора Леопольда под названием: «Processus inquisitorius[1], проведенный апелляционным трибуналом над двумя пражскими евреями — Лазарем Абелесом и Леблем Курцгандлем по причине убийства ими ex odio Christianae fidei двенадцатилетнего Симона Абелеса, сына первого из упомянутых, и для вящего возвеличения христианской веры, а также для весьма полезного назидания всякого и каждого, вместе с необходимыми документами главного суда и другими сюда относящимися поразительными событиями во всеобщее сведение напечатанный. Прага, у Каспара Захариаса Буссина, книгопродавца».

В этой брошюре, несмотря на все старания ее авторов доказать, что следствие о смерти Симона Абелеса велось беспристрастно и что приговор по этому делу был вполне справедлив, Фрейтаг наткнулся бы не только на многое такое, «о чем рассказчики желали бы умолчать», но пришел бы к предположению также, что «фанатичные убийцы», быть может, вовсе и не убийцы, а, наоборот, жертвы ужасного убийства по суду ex odio fidei — из ненависти к вере.

Сколько бы ни выходило брошюр с описанием этого происшествия, ни одна не осмелилась взять под свою защиту обвиняемых, которым было отказано даже в покровительстве закона. Через сто лет на процессе тулузских гугенотов так же, как и на процессе пражских евреев, не было доказано ни намерение сына переменить религию, ни самое убийство, и тем не менее отцы как в одном, так и в другом случае пали жертвой поповщины и черни. Но если Жак Калас благодаря пламенной книжке Вольтера нашел все же свое посмертное оправдание, то Лазарь Абелес и его друг так и не нашли никого, кто бы выступил в их защиту. И только обвинительный акт, — и в том, о чем он умалчивает, и в том, что он приводит в качестве неопровержимых улик,

[1] Судебный процесс (*лат.*).

— явно вопреки воле составлявших его, говорит достаточно красноречиво в пользу обоих подсудимых.

«Processus inquisitorius» начинается следующей фразой: «В году 1694, 25 февраля в высокопочтенное королевское наместничество в Праге... было подано письменное, никем не подписанное сообщение о происшедшем в пражском еврейском квартале убийстве еврейского ребенка, подробное изложение коего следует ниже».

Что этот донос исходит от иезуитов, видно с первого взгляда и подтверждается каждой последующей строчкой; в нем сказано, например, что мальчик выразил готовность принять крещение еще в сентябре предыдущего года и «открылся в этом его преподобию патеру Андреасу Мюнтцеру из св. коллегии Иисуса, ректору здешней пражской коллегии св. Климента и в присутствии нескольких других патеров, как то: патера Вильгельма Дворского, патера Иоганна Эдера и патера Иоганна Капета, горячо об этом просил..» Перед нами сплошь имена и факты, которые могли быть известны только в коллегии.

Кроме того, и сам патер Иоганн Эдер в своей брошюре не без гордости сообщает, что именно он побудил некого конциписта[1] из наместничества, узнавшего о происшествии от одного еврея по имени Иозель (т. е. Иосиф), передать донос дальше: «После того, как я получил об этом известие и еврейский доносчик был со всей подобающей строгостью подвергнут увещанию показывать только сущую правду, описал он на следующий день весь ход этих печальных происшествий, дабы передать свое сообщение в высокопочтенное наместничество». Эта фраза, не говоря уже об иезуитском использовании местоимения «он», лжива от начала до конца, ибо «хотя ему (то есть господину конциписту наместничества Константину Френкину, которого откопали, чтобы поручить роль составителя заявления) было настоятельнейшим образом внушено привести с собою упомянутого выше еврея-доносчика, он тем не менее разыскать его в

[1] Составитель официальных бумаг.

то время не смог». Что касается заявления чиновника, то в нем не содержится ни единого слова о настойчивых расспросах или увещаниях, которым якобы подвергался мнимый доносчик, ибо в этом случае ему бы пришлось объяснить, почему, прежде чем приступить к столь продолжительной беседе, он сразу же не узнал фамилии своего информатора.

Уже на следующий день могила была раскопана, тело перенесено в ратушу, произведено множество арестов (больничного служителя Гиршля Кефеле, смотрителя кладбища Иенухема Куранда, двух служанок), и начато следствие. В городе, в котором вскоре запылало всеобщее возбуждение, распространялись всевозможные слухи. И в декрете, передававшем ведение дела апелляционному суду, наместничество вынуждено было просить, чтобы его немедленно извещали обо всем том, что in hoc passa[1] будет выясняться по мере расследования и что может быть доведено до сведения публики, дабы из уважения к вышеупомянутой публике можно было бы всякий раз, своевременно, удовлетворять ее законное любопытство. Под сильнейшим влиянием подхлестываемой усердием властей гласности и протекало все дело.

В доносе, на основании которого было начато следствие, бездоказательно утверждается только одно, а именно, что мальчик отравлен, «...безжалостно погублен ядом в вине». Во время допросов, которые, как мы можем прочесть между строк, происходили с пристрастием, заключенная в ратуше Малой стороны кухарка Абелеса, по имени Геннеле, в конце концов призналась, что маленький Симон действительно скончался от яда. До этого она в согласии с отцом и мачехой покойного мальчика заявляла, что он умер от судорог; теперь, однако, она ответила судьям: «Я хочу сказать правду: отец дал ему что-то поесть, — вот отчего он скончался». И на вопрос, что же именно это было, добавила: «Он дал ему селедку».

---

[1] В эту пасху (*лат.*).

Таким образом, перед нами признание в соучастии, прямое свидетельство отравления со стороны очевидца... И тем не менее, в трупе никаких следов отравления найдено не было. Итак, основание к производству расследования в такой же мере не соответствует истине, как и вынужденное признание Геннеле.

И все-таки оба производившие вскрытие доктора медицины и оба хирурга, опасаясь искусственно вызванного в народе возмущения и принимая во внимание, что дело начато с благословения властей, не осмелились констатировать естественную смерть. В кратком протоколе об извлечении из земли, протоколе, который своим поверхностным отношением к фактам звучит как издевательство над тем, что в той же Праге за восемьдесят лет перед этим жил и работал такой анатом, как Ясениус, указывается, что «на левом виске обнаружена свежая круглая рана величиной в грош, вызванная ударом» (смертельная ли? глубокая? ссадина? — об этом не сказано ничего) и «перелом vertebra colli»[1]. Выходит, что здесь имели место, самое меньшее, два удара, но протокол все же заканчивается утверждением, что мальчик «должен был скончаться от весьма сильного удара».

Апелляционный трибунал, однако, нисколько не смущен тем обстоятельством, что упоминаемое в доносе и уже «доказанное» отравление на самом деле произойти никак не могло, и извиняет свою ошибку следующим образом: «ибо невозможно, чтобы известие по поводу яда и тайных похорон (кстати, утверждение, что мальчик был зарыт ночью, также оказалось неверным, похороны происходили днем и совершенно открыто), исходя от человека in limine[2] постороннего, а именно — от еврея, мало знакомого с семьей Абелеса, было бы таким уже точным и соответствующим истине».

Итак, сообщения «Иозеля» неверны потому, что он не

[1] Шейных позвонков (*лат.*).
[2] В доме (*лат.*).

был достаточно хорошо знаком с семьей, где произошло тайное злодеяние, но только эти сообщения не имеют ничего общего с мнимым доносом, и донос продолжает действовать, — что бы там ни было, убийство все-таки произошло! Заключение медицинского факультета, «истребованное настоятельнейшим приказом», гласит, что смерть мальчика необходимо признать насильственной. Еврейство обращается к следственным властям с запросом: не могло ли случиться, что труп был поврежден при его извлечении из могилы? Этот запрос, который послужил поводом к истребованию факультетского заключения, остается, однако, без ответа. Трагикомическую картину представляют собою старания трибунала объяснить противоречия в формулировке обвинения (например, отравление — смертельный удар) и наряду с этим попытки умалить значение того факта, что показания подсудимых и ряда свидетелей поразительным образом сходятся, объясняя его тем, что между ними имел место предварительный сговор. Все арестованные независимо друг от друга показывали, что рана на виске не что иное, как шрам, оставшийся после чесотки, «каковому показанию научили даже маленького восьмилетнего ребенка, который постоянно бывал у них в доме и который был вызван в суд вместе со всеми». Таким образом, Лазарь Абелес на случай разрытия могилы проинструктировал не только жену и служанку, находившихся теперь, как и он, под арестом, но и соседского мальчика, вызова которого в трибунал он, разумеется, предвидеть не мог.

Обвиняемые настойчиво отрицают, что маленький Симон когда-либо убегал из отцовского дома с намерением окреститься. В связи с этим следовало вызвать для дачи свидетельских показаний отцов-иезуитов, от которых, как это вполне очевидно, исходил первый донос, и которые утверждали и позже, что провели с мальчиком подлинную дискуссию. Этого, однако, сделано не было. Кроме того, предполагаемое бегство мальчика из дома произошло за четыре месяца до его смерти и, таким образом, послужить непосредственным поводом к удару, оказавшемуся смертельным, никак не могло. Если уж судьи во что бы то ни стало

стремились доказать факты бегства и последующего убийства и установить между ними взаимную связь, то проще было бы объяснить это тем, что мальчик из-за жестокого обращения со стороны своего бесчеловечного отца пытался от него убежать и в дальнейшем, по возвращении домой, погиб от таких же жестокостей; но для подобного объяснения в «Processus inquisitorius» нет решительно никаких точек опоры.

Согласно обвинительному акту, мальчик был помещен иезуитами у некого крещеного еврея по имени Кафка, и уже оттуда его взял Лазарь Абелес. Этот Кафка во время процесса отсутствовал, и роль, которую приписали ему in absentia[1], остается и по сей день достаточно темной; в одном месте мы находим указание, что мальчик был у него выкраден, тогда как в другом — что он действовал заодно с Лазарем Абелесом.

Зато появляется еще одна свидетельница, крещеная еврейская девочка. Маленькая Сарра Урезин, выступившая в этом деле в качестве Самуила[2], представляла собой тринадцатилетнее, физически увечное и — как этого не может скрыть даже обвинительный акт — нравственно испорченное создание, и, выступи она со свидетельством в пользу обвиняемых, иезуиты называли бы ее не ласковым словом «служаночка», но по крайней мере «наглая еврейская потаскушка». Она является в трибунал, «как если бы была вызвана». Однако послушайте: «И когда почтеннейшая апелляционная коллегия, по здравом размышлении надо всем этим, сочла совершенно необходимым приложить настоятельнейшие усилия к тому, чтобы привлечь еще нескольких свидетелей и среди них в особенности евреев, благодаря которым можно было бы устроить очную ставку с обвиняемым (ибо судебные присутствия весьма часто имели случай заметить в отношении указанных евреев, что на них гораздо сильнее действует для выяснения истины очная

---

[1] В отсутствие (*лат.*).

[2] Библейский персонаж, последний пророк и судия иудеев.

ставка и то, что один еврей скажет в лицо другому, чем даже самая пытка), вдруг совершенно неожиданным образом является некая еврейская служаночка по имени Сарра Урезин, около тринадцати лет от роду, которая, пребывая у одной христианки в истинной христианской вере и услышав кое-что немногое об этом суде, сама по себе и по доброй воле...»

И это столь быстро воплощенное желание по имени Сарра Урезин (патер Эдер объясняет ее появление сверхъестественным путем), показывает королевскому верховному суду, к которому она к тому же самостоятельно нашла доступ, именно то, чего так добивались судьи на данном этапе расследования; она сообщает, что в минувшем году и как раз в то время, когда Симон убежал из дома ради крещения, она служила у Абелесов (!), что отец мальчика будто бы сказал, пусть лучше мальчишка издохнет, и потом поленом избил его до крови. Девочке была устроена очная ставка с Лазарем Абелесом. «Да покарает меня Бог, если я когда-либо видел этого ребенка!» — воскликнул он. И все же девочка «совершенно твердо и искренне и безо всякой робости или страха повторила ему в глаза свои показания».

После этой не увенчавшейся успехом очной ставки Лазарь Абелес «был снова отведен в свою прежнюю, помещавшуюся в башне ратуши, где часы, камеру, и содержался там в строгости со скованными ногами и рукой».

Через несколько часов его нашли удавившимся.

Правосудие в связи с этим происшествием, которое было объяснено самоубийством, не могло не выразить своего изумления. Ибо, во-первых, еврейская девочка «не смогла сказать ему в лицо ничего, кроме нескольких слов по поводу христианско-католического рвения мальчика», и, во-вторых, самоубийство таким способом скованного и так тщательно охраняемого действительно вещь, не легко поддающаяся объяснению: «Сняв со своего тела перевязь от сабли, каковой перевязью евреи пользуются обычно как поясом, он прикрепил ее к верху двойной железной решетки, до которой дотянулся с помощью маленькой щепки, и затем, всунув в эту перевязь шею, повесился или, вернее сказать, уда-

вился». По-видимому, говорит автор нашего документа, незначительный, в сущности, разговор с девочкой Урезин «столь сильным образом подействовал на его совесть и на жестокую, испорченную душу», что он наложил на себя руки.

И хотя утверждали, что раскаяние подсудимого было доказано им на деле, тем не менее это не избавило его трупа от исполнения приговора. Мертвец был формально объявлен виновным, и приговор приведен в исполнение — у него вырвали сердце и били его по щекам, а потом четвертовали и сожгли на костре.

Его жене и кухарке Геннеле о смерти главного обвиняемого не сказали ни слова. Несмотря на угрозы и лживые уверения, что Лазарь Абелес признался во всем, они попрежнему настаивали на своей невиновности. Девочку «in private»[1] в еврейской одежде привели на очную ставку с кухаркой, которая на этот раз согласилась со всем, что та показывала и в конце концов вынуждена была подтвердить, что действительно отец сгубил мальчика ядом. Затем последовала очная ставка Геннеле с госпожой Леей Абелес, всю предыдущую ночь страдавшей от сердечных припадков. И она, видя, что кухарка, несмотря на добрую волю, превратилась под давлением судей в свидетельницу обвинения, поняла, что все кончено. Стремясь спасти своего мужа, о смерти которого она не имела ни малейшего представления, она заявила, что ребенка убил один их знакомый, некий Лебль Курцгандль, который не живет больше в Праге. Курцгандля арестовали в Манетине, и о нем началось особое следствие. Что же касается мальчика Симона, то его, как воспринявшего Христа «in proprio sanguine»[2] решено было похоронить публично и с беспримерной пышностью, о чем распорядился в соответствии с постановлением совета теологов и каноников архиепископ Ганс Фридрих Вальдштейнский. 25 марта 1694 года «in ipso festo Simonis Tridentini, aeque a

[1] Частным образом.
[2] В собственной крови (*лат.*).

Judaeis martyrisati»[1], комиссия вынесла определение, где именно следует похоронить мальчика.

Погребение состоялось через неделю; тело, погребенное на еврейском кладбище еще 22 февраля, через пять дней после этого вырытое и в продолжение целого месяца простоявшее в ратуше, было официально объявлено не издающим ни малейшего неприятного запаха. К этому поразительным образом присоединилось еще и второе доказательство святости: смертельные раны на разбитом затылке, наподобие источника, все время и безостановочно источали совершенно свежую и здоровую кровь, вследствие какового явления многие из присутствующих пытались (пытались!) намочить свои носовые платки этой истекающей кровью, и их примеру последовал даже некий хирург, принадлежащий к евангелическому исповеданию».

Лебль Курцгандль, на которого согласно документам не надает ни малейшего подозрения, 19 апреля 1694 года был приговорен к смерти. Как велось это дело, можно видеть из приказа императора Леопольда I3 обращенного к апелляционному трибуналу: «Жалоба обвиняет вас в том, будто вы воздвигли множество препятствий, дабы приговоренный вами к смерти Лебль Курцгандль, пражский еврей, ни сам, ни его друзья не могли добиться ex officio[2] копии вынесенной вами против него сентенции, а также какого-либо защитника». Император велит действовать на законном основании, отложить исполнение приговора и принять меры к тому, «чтобы осужденный не мог прекратить свою жизнь in carceribus[3], как это произошло, по слухам, с его сообщником».

Апелляционный трибунал ответил его величеству, что осужденный старается лишь оттянуть исполнение приговора, вследствие чего Леопольд предоставил Курцгандлю, об-

---

[1] В день Симона Тридентского, равным образом умученного евреями (*лат.*).

[2] Официальной (*лат.*).

[3] В тюрьме (*лат.*).

виняемому «в этом тягчайшем уголовном деянии», лишь четырнадцатидневную отсрочку для доследования, после чего утвердил смертный приговор; «так как скорейшее исполнение его нетерпеливо ожидается публикой, — гласил приказ императора, — казните его без всякого промедления и не возобновляйте дальнейшего следствия».

Нагой, привязанный к особому трехгранному приспособлению, с конечностями, растянутыми в разные стороны, стоял он на Гальгенберг[1], [3] чтобы палач «тридцатью и еще несколькими» ударами восьмидесятифунтового колеса размозжил ему бедра и голени и железным ломом раздробил ему грудь. И патер неумолчно взывал к преступнику, увещевая его принять христианскую веру. Наконец, после одиннадцатого удара, Курцгандль ответил, что он согласен; его окрестили и дали имя Иоганна, и палач после этого повязал ему глаза, и «он принял последний, смертельный удар в шею и, впав в беспамятство, истекая изо рта и из носа хлынувшей кровью, еще после двух других ударов, праведно опочил в Господе при справедливом изумлении всех присутствующих, которые не находили приличествующих этому случаю слов, дабы достойным образом восхвалить и прославить чудодейственную руку Господню и его неисчерпаемое милосердие».

И недавнего «гнусного злодея» Лебля Курцгандля, как «принесшего раскаяние католическому Христу», под именем Иоганна погребли в церкви св. Петра.

---

[1] Виселичный холм (*нем.*), название лобного места в Праге.

## УКРОЩЕНИЕ ПАРШИВЦА



Могу ли я рассказать о том, что, собственно, произошло с биржевым советником Замеком и по какой причине он так неожиданно появился тогда на квартире у вас и у ваших соседей?

Могу ли я рассказать вам об этом? Конечно, я могу рассказать, но я не знаю, заинтересует ли это тех, которые никогда не слыхали, кто такой биржевой советник Замек, не говоря уже... Что? Вам знакомо его имя, он так знаменит? А о Менделе Мендле вы тоже слышали?

Вот видите, вы не из Гросмезерича и, ясное дело, ничего о нем не слыхали. Меня нисколько не удивляет ни то, ни другое: ни то, что вы отзываетесь о биржевом советнике Замеке как о личности знаменитой, ни то, что вы не знаете Менделе Мендля.

Ведь в самом деле, биржевой советник Замек — первый богач среди «моравских», — так с некоторым оттенком пренебрежения богемские евреи называют своих моравских единоверцев, — он владелец паровой мельницы «Бергман, Нейгрошль, Паковский и К°» в Гросмезериче, он выжил всех этих Бергманов, Нейгрошлей, Паковских и К° с мельницы, она принадлежит ему одному, и венская хлебная биржа пляшет под его дудку.

А Менделе Мендль наоборот: Менделе Мендль нисколько не знаменит. И из вас его знают лишь те, которые родом из Гросмезеричского округа и которые никогда бы и не подумали поинтересоваться, зачем Менделе Мендль явился на квартиру к ним и к их соседям, хотя они очень и очень интересовались, по какой причине к ним и к их соседям явился биржевой советник Замек.

Менделе Мендль появляется в квартирах совершенно пунктуально в назначенный для этого час, и лишь немногие подвластные гросмезеричскому окружному начальнику обитатели округа, поскольку они принадлежат к Моисееву закону, могут похвастаться тем, что им удалось отпустить Менделе Мендля с пустыми руками.

Шнорер[1] Менделе Мендль столь же усерден в своем деле, как биржевой советник Замек в своем, и благодаря этому бедный Менделе Мендль далеко не так беден, как богатый биржевой советник Замек богат. Однако, если бы он был даже так беден, как биржевой советник Замек богат, он бы все равно остался в безвестности. Благодаря бедности никогда не станешь известным, — чтобы стать известным, надо или быть богатым, или выкинуть что-нибудь особенно необычное, или подарить миру какое-нибудь изобретение, пусть даже совсем бесполезную вещь, ну, как, скажем, тот самый Онан, имя которого через столько тысячелетий все еще пользуется громкой известностью.

Однако пора, наконец, объяснить, каким образом случилось, что биржевой советник Замек явился тогда к вам на квартиру и какое отношение имеет это все к Менделе Мен-

[1] Попрошайка, сборщик пожертвований (*идиш*). (*Прим. ред.*).

длю. Сын Менделе Мендля получил в Вене докторскую степень и проживал там в качестве секретаря адвоката. В Вене проживала также фрейлейн Эллен Замек. Она приехала туда, чтобы посещать шварцвальдскую школу, как это и подобает добропорядочной дочери из хорошего еврейского дома, и занималась там гимнастикой Мензендика и спортом, как это тоже подобает добропорядочной дочери из хорошего еврейского дома, которая слишком дородна телом. Она весила девяносто кило, а это чересчур много даже для добропорядочной дочери из хорошего еврейского дома. Если миллионер не оставил единственного ребенка киснуть в Гросмезериче, но послал свою дочь в большой город, чтобы она там усердно худела и привезла отцу подходящего зятя, так это найдут вполне понятным; но то, что я намерен добавить, многие из вас сочтут совершенно непостижимым и тотчас же упрекнут меня в плоской банальности. Делать, однако, нечего, и я должен выложить свое добавление.

В Вене доктор Альфонс Мендль и фрейлейн Эллен Замек познакомились и полюбили друг друга.

«Постойте! — восклицаете вы, как я и предполагал об этом заранее. — Почему два уроженца Гросмезерича должны познакомиться именно в Вене, в городе с многомиллионным населением? Почему ты не столкнул их в Гросмезериче, почему ты избрал Вену местом действия твоей истории?»

Нет, для моей истории я ни в малейшей степени не нуждаюсь в Вене. В каких бы местностях она ни протекала, все они — и вы вскоре это увидите — без исключения, принадлежат к гросмезеричскому округу, а Вена находится совсем в другом месте.

К тому же, моя история это совсем не моя история, а история Эллен Замек и доктора Мендля или, вернее, история их почтенных отцов, и то, что молодые люди познакомились в Вене вместо того, чтобы сделать это в Гросмезериче, — факт, в котором я ничего не могу изменить.

Впрочем, и тут я перехожу от обороны к наступлению, — впрочем, если Эллен и Альфонс впервые познакомились

в Вене, то это не только случайная истина, но и единственно возможная истина. Где же они могли еще познакомиться? Неужели в Гросмезериче? И я не смеюсь! Там, на этом тесном пространстве, где их разделяла непроходимая пропасть астрономических масштабов между дочерью первого богача, председателя религиозной общины и сыном нищего, окружного шнорера? Нет, при таких условиях ни она бы его никогда не увидела, ни он бы ее никогда не узнал.

В Вене, наоборот, это было не только возможно, но и само собой разумелось. Если кто из Гросмезерича, тот найдет там целую кучу друзей, с которыми когда-то учился в требичской гимназии, и эти бывшие соученики переженились на девушках из Босковица или Гединга, и все они кузины... одним словом, для того, чтобы Эллен Замек и доктор Альфонс Мендль не встретились в Вене, в это дело необходимо было бы вмешаться самому черту. Но, так как он в него не вмешался, они все-таки встретились.

Биржевой советник Замек ни о чем не подозревал. Что касается Менделе Мендля, то и он долгое время оставался в неведении. Он, собственно, не мог бы, разумеется, возражать против такого брака — ведь это ж была бы брильянтовая партия! — хотя всякий раз, когда он заговаривал о биржевом советнике Замеке, он неизменно величал его не иначе, как «паршивец». Парша — это особое заболевание кожи, однако паршивец — это вовсе не тот, кто страдает паршей: паршивец — это «парш pro toto»[1], это человек, который, отвечая на поклон, не удосуживается приподнять свою шляпу, как если бы ему необходимо было скрывать от чужих взглядов паршу на своей голове; в действительности ему нечего скрывать, в действительности это просто надменный и кичливый человек, то есть паршивец.

Молодой доктор Мендль, сидя у себя в Вене, был превосходно осведомлен, что его отец называет отца его невесты паршивцем, но в этом еще не заключалось достаточных оснований, чтобы опасаться со стороны Менделе Мен-

---

[1] Игра слов: pars pro toto (часть вместо целого) (*лат.*).

для отказа. Для обоих помолвленных Менделе Мендль представлял собою меньшее зло, и по этой причине его первого посвятили в тайну, и он взял на себя поручение сообщить о ней будущему тестю своего сына. В конторе Бергмана, Нейгрошля, Паковского и К°, где он привык получать от бухгалтера свою еженедельную милостыню, Менделе Мендль заявил однажды о необходимости переговорить с самим хозяином. (Он сказал, разумеется, не с «паршивцем», но с «господином биржевым советником».) На этот раз дело идет не о вспомоществовании, на этот раз он должен сделать господину биржевому советнику весьма важное для него сообщение.

Когда биржевой советник Замек выслушал это поистине весьма важное для него сообщение, он покраснел, как рак, и, чувствуя себя оскорбленным, обрушился в гневе и ярости на Менделе Мендля и выбросил его вон.

...«Выбросил его вон» — так принято говорить в аналогичных случаях.

Говорят, что кого-либо выбросили вон, когда ему, например, не ответили на вопрос; «выбрасывают вон» также, попросту вставая со своего места и намекая тем самым, что разговор окончен, «выбрасывают вон» и тогда, когда показывают посетителю на дверь, «выбрасывают вон», наконец, когда кричат вам в лицо: «Подите вон!» Биржевой советник Замек не воспользовался ни одним из описанных способов. Он самым настоящим образом выбросил Менделе Мендля за дверь. Он, паршивец, который ни разу в своей жизни не испачкал себя прикосновением к шнореру, схватил маленького Менделе Мендля за плечи, отбросил его к двери, распахнул ее и плюнул ему в лицо. «Шнорер!» — кричал он. «Шнорер!» — плевался он и руками и ногами вытолкнул Менделе Мендля на лестницу, так что Менделе Мендль скатился кубарем вниз и прямо чудо, что не сломал себе ног.

Биржевой советник Замек, не довольствуясь тем, что спустил своего посетителя с лестницы, распахнул окно и в то время, как Менделе Мендль, кряхтя и почесываясь, разглядывал во дворе свои разбитые руки и ноги на предмет

предъявления иска об увечье и вытирал плевки, велел привратнику вытолкать этого шнорера в шею и выбросить его со двора, и, если этот шнорер еще хоть раз осмелится показаться на фабрике (Замек называл свою мельницу «фабрикой»), спустить на него цепную собаку.

Менделе Мендль поторопился выйти за фабричные ворота. Он сжал кулаки и проскрежетал: «Паршивец!» Впрочем, биржевой советник Замек не услышал его, так как успел к этому времени затворить окно, а для служащих, которые с любопытством следили за этой сценой, слово «паршивец» не составило никакой сенсации, ибо они и сами называли своего хозяина точно так же.

С непостижимою быстротой в Вену до виновников этого происшествия дошло известие о сцене, разыгравшейся в тот же день в Гросмезериче между виновниками их появления на свет, то есть между их отцами.

Менделе Мендль сообщил обо всем случившемся письменно. Если писание писем и прежде не было его сильной стороной (ведь существуют шнореры, специальностью которых являются письма; к числу последних он, однако, отнюдь не принадлежал), то теперь, когда он описывал сыну историю своего похода к паршивцу, возмущение клокотало в нем с такой силою, что буквы, как пьяные, налезали одна на другую.

Да, Менделе Мендль пребывал в ужаснейшей ярости. Но почему? Потому что его вышвырнули? Деятельность шнорера, как и деятельность боксера, требует от занимающегося ею способности прибегать к униженным просьбам и спокойно принимать все, чем бы тебя ни наградили. Впрочем, под выражением «спокойно принимать все, чем бы тебя ни наградили» подразумевается, конечно, не умение принимать милостыню, — нет, «спокойно принимать все, чем бы тебя ни наградили» означает у шнореров способность переносить унижения и оскорбления, включая сюда и вышвыривание. Менделе Мендль этой способностью обладал. Его долгая жизнь доставила ему богатые возможности не только приобрести ее, но и многократно испытать в деле.

Таким образом, его привело в ярость совсем не то, что ему

пришлось еще один раз пережить очередное вышвыривание. Возможно, — впрочем, из письма этого усмотреть нельзя, и свое предположение я выставляю именно в качестве предположения, — возможно, что он особенно больно переживал случившееся потому, что был оплеван и выброшен не как шнорер, но, так сказать, как лицо частное, как сват своего сына, доктора, доктора обоих прав, доктора из Вены.

К этому присоединяется еще одно соображение, в пользу которого можно отыскать некоторые точки опоры как в самом письме, так и в последующем поведении Менделе Мендля. Он особенно остро чувствовал нанесенное ему оскорбление по той причине, что оскорблению подверглась его профессия, с которой он сжился и которая позволила ему предоставить своему сыну возможность учиться и сделаться доктором, доктором обоих прав, доктором, проживающим в Вене.

Может показаться, что это невероятно, но, тем не менее, это без сомнения так: если бы Замек, этот паршивец, назвал его мошенником, вымогателем, даже бандитом с большой дороги, если бы он назвал его *грязным* шнорером, *жалким* шнорером вместо того, чтобы без конца честить его попросту шнорером, ярость Менделе Мендля была бы неизмеримо слабее.

Именно по этой причине Менделе Мендль в своем письме всячески поносил методы, с помощью которых Замек нажил свое состояние. «Я бы мог так же, — писал Менделе Мендль, — раз в неделю ездить на хлебную биржу и обжуливать людей. Я бы мог так же разъезжать в автомобиле, — писал Менделе Мендль, — если бы я имел таковой. Но у меня нет автомобиля, — писал Менделе Мендль, — и я должен таскаться вверх по лестницам, вниз по лестницам на своих на двоих, чтобы заработать себе кусок хлеба», — и здесь он был также, разумеется, прав, хотя автомобиль как раз, чтобы таскаться вверх и вниз по лестницам, совершенно не нужен. «И вдруг является этот паршивец», — писал Менделе Мендль, и здесь он был кругом неправ, ибо не паршивец явился к Менделе Мендлю, но Менделе Мендль явил-

ся к паршивцу, — впрочем, ни положения, выдвинутые в письме, ни психологические основания того бешенства, в котором пребывал его автор, мы анализировать не собираемся; мы хотим лишь кратко и связно поведать о конкретном содержании письма. А конкретным в нем было прежде всего проклятие, обращенное не только к Замеку, но и ко всему его роду вплоть до второго и третьего поколения. Вы понимаете: если бы его Альфонс все-таки женился на дочери Замека, то он взял бы не только жену, отмеченную проклятием, но и породил бы заранее проклятых детей. Не довольствуясь этим, Менделе Мендль соблазнял своего сына к произведению на свет такого, заранее проклятого, разумеется, незаконного потомства: «Сделай ей ребенка, и пусть сидит себе потом на своей ризентохес»[1] — так советовала его безрассудная жажда отмщения.

Еще большей категоричностью, чем проклятие трех колен Замека, было отмечено следующее сообщение, которое делал Менделе Мендль в письме. Сегодня же он отправится к адвокату, чтобы подать на Замена жалобу, «и если мне придется ухлопать на это дело все до последнего гроша, я тем не менее не успокоюсь до тех пор, пока Замек не предстанет перед уголовным судом и этого не раструбят газеты».

В то время, как Менделе Мендль потел над письмом, биржевой советник Замек покачивался в автомобиле по дороге в Вену. Войдя в комнату дочери, он коротко бросил: «Собирай вещи». Он не расспрашивал ее ни о чем, не расспрашивала его и она, и так все было ясно.

Отец, дочь и чемодан отправились вместе домой. Дорога Вена-Гросмезерич — это сто девяносто километров, и на протяжении ста девяносто километров не было произнесено ни единого слова.

Потом потянулись мрачные недели, в течение которых Менделе Мендль проводил большую часть своего времени у адвоката, а Эллен Замек у всех на глазах худела. Впрочем, «на глазах» не вполне подходящее выражение, подхо-

---

[1] Толстый зад (*евр.*).

дящим выражением было бы «ужасающе». Если специальные врачебные процедуры и гимнастика Мензендика ей нисколько не помогали, то теперь дело пошло настолько быстро, что биржевой советник Замек, который, глядя на любовное томление своей дочери, поначалу только посмеивался, стал в конце концов тревожиться по-настоящему.

Приглашенный для консультации врач не рассеял тревоги отца; наоборот, он нашел столь резкое исхудание угрожающим и прописал микстуру. Несмотря на эту последнюю и вопреки поговорке, что время лучший целитель, состояние Эллен ухудшалось и ухудшалось и 90 кило нетто превратились, наконец, в 68,3 (теперь при взвешивании Эллен учитывался уже каждый грамм).

Что оставалось делать биржевому советнику Замеку, раз он не желал видеть, как умирает от чахотки его единственное дитя, как не отправиться в Вену и с великодушным жестом даровать возлюбленному Эллен свое родительское благословение? И хотя доктор Альфонс Мендль засвидетельствовал по этому поводу свою радость, тем не менее эта радость была достаточно печального свойства. Доктор Альфонс Мендль заявил, что не может оскорбить своего старого отца, который на протяжении всей его жизни отказывал себе во всем, копя для него каждый геллер, и что действовать против его воли не станет. Он опасается также, что отец, при своем упрямстве, даже если бы он обвенчался с Эллен, ни за что не откажется от процесса и не остановится перед скандалом.

Весьма учтиво и сердечно, но не обнадеживая, Мендль-junior[1] обещал еще раз съездить к отцу, но при этом постарался не оставить у своего собеседника ни тени сомнения насчет того, что без согласия отца он на женитьбу никоим образом не решится.

Менделе Мендль оказался непоколебимым, и его Альфонс, его сын, доктор обоих прав, возвратился в Вену ни с чем. Эллен весила 53,4 кило. Биржевой советник после дол-

---

[1] Младший (*лат.*).

гих колебаний решился, наконец, и отправился к Менделе Мендлю. Тот раскричался и выложил все. Замек с кротостью и терпением наблюдал, как беснуется шнорер.

— Ну так что же? Каковы ваши условия, господин Мендль?

— Мои условия! — воскликнул Менделе Мендль, и искорка радости в его глазах выдала сразу, как страстно мечтал он после того, как его выбросили вон, об этом вопросе и как давно уже приготовил ответ. — Каковы мои условия?

— Да.

— У меня только одно условие. Желаете его выслушать?

— Да.

— Мое условие таково: в течение одного дня вы будете побираться, как это вынужден делать я в течение сорока лет, от восьми утра до шести вечера между Гросмезеричем и Гольч-Еникау; вы будете побираться, как шнорер, и ваша дочь получит моего сына, доктора. В противном случае этому не бывать, клянусь жизнью Альфонса!

Это было уж чересчур. Биржевой советник Замек, несмотря на то, что приготовился пойти на любые условия, решительно встал со своего места и вышел.

И лишь тогда, когда вес Эллен упал до 46,1 кило, он еще раз посетил Менделе Мендля и заявил: «Я согласен».

На следующий день состоялся тот самый обход квартир биржевым советником Замеком, о причине которого вы меня спрашивали, и не вы первые задаете мне подобный вопрос; обитатели гросмезеричского округа по поводу этого обхода долгое время терялись в догадках, и лишь мировая война, послужив неисчерпаемым источником разговоров, положила предел толкам об этом происшествии. Ровно в восемь утра биржевой советник Замек приступил к делу. Его неотступно, в целях контроля, сопровождал Менделе Мендль. Он указывал ему дома, в которых обитают евреи и которые предстояло «сделать» новому шнореру.

Подобно сутенеру, пристально следящему за тем, чтобы его возлюбленная делала свое дело усердно и ревностно, Менделе Мендль поджидал Замека на ближайшем углу и следил, чтобы паршивец не пропустил ни одного дома.

Волей-неволей биржевой советник Замек вынужден был

входить.

Хозяин первой квартиры, в которую он попал, начал почтительно извиняться, что комнаты еще не прибраны, но Замек еще почтительнее прервал его извинения, объявив, что пришел побираться. Поначалу тот ничего не понял и расхихикался, полагая, что его посетитель изволит шутить, но шнорер Замек — он был проинструктирован в этом деле Менделе Мендлем — начал в жалобных выражениях повествовать о своем несчастии. Мельница обанкротилась, все его имущество конфисковано, и у него нет теперь куска хлеба ни для него, — и тут Замек пустил слезу, — ни для его дочери. Всякое даяние для него теперь благо.

— Подайте мне, прошу вас, пару грошей, и Бог воздаст вам за это.

— Вот как!

Теперь только и началось самое главное. На биржевого советника Замека посыпалось столько упреков и обвинений, что он готов был провалиться сквозь землю, если бы это не противоречило заключенному им договору.

— Вот как! Так вы теперь, наконец, стали шнорером. А если бы я пришел к вам, когда вы были богаты, вы бы подали мне хоть самую малость? Вы бы меня даже не допустили к своей особе! Вы увеличили мне налог на нужды общины на том основании, что моя жена отдает свои платья брюннской портнихе: «Пусть ваша жена шьет свои туалеты в Гросмезериче», — сказали вы, когда я пришел просить о снижении ставки. Я не дам вам ни одного крейцера, чтоб я так жил!

В каждом доме, который «делал» новый адепт шнорерства, ему приходилось выслушивать упреки самого различного свойства, но припев при этом всегда был одним и тем же: «И не дам вам ни одного крейцера, чтоб я так жил!» «Каждую весну я ссужаю крестьянам деньги на полевые работы и все время тревожусь, смогу ли я получить их обратно, — так вот, летом, разумеется, если цены на хлеб высоки, приходит в своих вытюженных штанах господин биржевой советник Замек, дает крестьянам деньги, чтобы они могли возвратить мне задаток, и сам скупает у них урожай. Я

не дам нам ни одного крейцера, чтоб я так жил!»

Так клялись они, но если сами же не нарушали своей клятвы тем, что лезли в карман и бросали ненавистному Замеку мелочь, ему все же подавали хозяйки, чтобы, с одной стороны, не заставить своих мужей стать клятвопреступниками, и с другой потому, что обедневший фабрикант внушал им гораздо больше сочувствия, чем шнорер со дня рождения. И именно так это случилось у вас и у ваших соседей, когда биржевой советник Замек посетил в тот раз вашу квартиру.

Все больше и больше Замек привыкал к своему положению, и уже не столь оскорбительными казались ему издевательства сопровождавшего его шнорера. Тем не менее, лицо Замека покрылось мертвенной бледностью, когда он в Есловице очутился перед Максом Паковским. Макс Паковский был братом прежнего совладельца «Бергмана, Нейгрошля, Паковского и К°», он прослужил на мельнице почти тридцать лет сряду, и притом десять лет после того, как его брат вышел из фирмы и единоличным владельцем предприятия стал биржевой советник Замек. И все-таки однажды биржевой советник Замек без всякой причины и предупреждения уволил Макса Паковского, чтобы освободить его место для своего ставленника.

Макс Паковский сказал:

— Я презираю вас, потому что вы самый обыкновенный эксплуататор. В то время я охотно пожертвовал бы последним грошом, чтобы начать против вас судебное дело, но я знал, что богачу не сделается ничего, сколько бы его ни судили.

— Теперь я бедняк, господин Паковский, подайте, пожалуйста, пару грошей, и Бог воздаст вам за это.

— Я не дам вам ни одного крейцера! Но я готов ссудить десять крон из пяти процентов. Вот вам деньги, пишите расписку!

— Я не могу брать взаймы, господин Паковский, я не смогу возвратить этих денег. Подайте мне что-нибудь, я ведь шнорер!

— Вы вовсе не шнорер. Богач на этом свете не может стать шнорером; мошенники не дают друг другу упасть, а мошенники владеют деньгами. Лишь тогда, когда у всех мошенников будут отняты деньги, лишь тогда вы станете действительно шнорером.

При других бы обстоятельствах биржевой советник Замек сумел бы отлично насолить Максу Паковскому за подобные мятежные речи, но теперь, будучи шнорером, он не смел ничего возразить, но теперь, будучи шнорером, он мог только взять деньги и подписать расписку, и это, в сущности говоря, выходило за пределы того, что он мог сделать, будучи шнорером.

Когда местечко наконец было «сделано», биржевой советник Замек приступил к периферии Менделе Мендля и отправился вместе с ним к ближайшему поселению. Менделе Мендля интересовало, сколько Замек получил в том или ином доме, и он всякий раз одобрительно кивал головой:

— Да, это больше, чем получаю там я.

— Сколько обыкновенно собираете вы, господин Мендль, на том пути, который мы с вами проделали?

— В Бренпориче я зарабатываю приблизительно три кроны, в Будвице — четыре кроны пятьдесят, в Бариче — две, в Чебошице тоже две, — получается, таким образом, от девяти до десяти крон. А сколько заработали вы?

Биржевой советник Замек подводит баланс: он собрал двадцать четыре кроны семьдесят геллеров; впрочем, отсюда необходимо высчитать десять крон, деньги Макса Паковского.

Они идут дальше. Дороги между моравскими деревнями и особенно в Гросмезеричском округе очень плохие. Замеку часто приходится останавливаться, чтобы передохнуть. Менделе Мендль весьма любезно поджидает его и только посмеивается. «В автомобиле лучше, не так ли?» — спрашивает он в этих случаях.

Миновало утро, миновал жаркий полдень, миновали первые послеобеденные часы, позади осталась деревня Либшиц и двадцать семь крон тридцать геллеров, в позоре заработанных биржевым советником Замеком, позвякивали в его

кармане; предстоял еще только Гольч-Еникау, через час пробьет шесть, и испытание будет окончено.

Они спускаются с либшицкого холма по направлению к Гольч-Еникау, и Гольч-Еникау оказывается дальше, чем они предполагали, дорога более каменистой, чем они думали, ноги устают.

Наконец Замек и Менделе Мендль видят под собой Гольч-Еникау, городок, где живут состоятельные и благочестивые евреи. На колокольне бьет половина шестого, вечерний ветерок колышет хлеба и приносит с собою запах свежеиспеченного белого субботнего калача.

Менделе Мендль останавливается и глубоко переводит дыхание.

— Мехутн, — говорит он, и «мехутн» — это выражение, которое употребляется отцом жениха при обращении к тестю его сына, — мехутн, — говорит он и протягивает свою правую руку человеку, который его жестоко оскорбил и которого он в свою очередь оскорбил и унизил. С дрожью в голосе он добавляет:

— Мы сейчас возвратимся домой, и пусть наши дети поженятся и будут счастливы.

Биржевой советник Замек берет протянутую ему руку и долго трясет ее. Затем он вытаскивает из кармана часы, на минутку задумывается и предлагает:

— А Гольч-Еникау можно было бы все-таки «сделать».

# ЗАМЕТКИ О ПАРИЖСКОМ ГЕТТО



*Заметка 1-я.* На вывесках продуктовых магазинов квартала Сен-Поль в связи с понятием «кошер» разыгрывается настоящая гражданская война. До сих пор считалось, что это слово относится к кушаньям, приготовленным в соответствии с ритуальными предписаниями, до сих пор считалось также, что если что не кошер, значит, оно попросту «треф» и что прилагательное «кошер» степеней сравнения не имеет.

Теперь, однако, мы узнаем, что со словом «кошер» дело обстоит совершенно так же, как и со словом «национальный»: одна партия, — ну да, конечно, национальная, другая, разумеется, еще национальнее, третья, и это необходимо признать, самая национальная, но моя партия самая пренациональная, и если ты к ней не принадлежишь, значит, ты предатель нации. Аналогичный торг с переторжкой имеет место в Париже и в отношении ритуальной пищи.

На улице Дез-Экуф лишь одна единственная мясная довольствуется вывеской из трех согласных: кошер[1]. Это скромное сообщение оспаривается граничащей с нею Boucherie, Charcuterie и Tpipeгie[2], которая многозначительно подмигивает в сторону соседнего магазина и уже от себя возглашает: «эмес кошер», то есть я по-настоящему кошер.

Это, впрочем, едва ли помогает ей, и ее конкурент на противоположной стороне улицы хвалится, что является поставщиком «шомре гадас», то есть истинных ревнителей веры, так что именно здесь сможет достать свою баранину или — вывеска сообщает одновременно о продаже «ojfes-volailles»[3] — или гусятину даже самый ортодоксальный еврей.

Можно, однако, найти еще более надежное место: на углу есть мясник, который, с одной стороны, именует себя Maison de Confiance[4], и, с другой, не надеясь, по-видимому, что его покупатели испытывают по отношению к нему достаточное confiance, подчиняет себя «гашгохе известного ров Горав реб Иоеля Галеви Герцога, шалито»[5].

Вывески с заверением в неуклонном, еще более неуклонном и неуклоннейшем следовании всем предписаниям ритуала пишутся, разумеется, исключительно по-еврейски, и их перевод на французский, обо всем этом умалчивает; так, например, в одной и той же лавке налево от уверения, что все здесь «адас Исроел», т. е. в высшей степени ортодоксально, французский текст гласит: «Bon-cherie moderne»[6] .

---

[1] Орфография современного еврейского языка, как и древнееврейская, обходится без обозначения гласных. Таким образом, слово «кошер» пишется тремя буквами (к, ш, р).

[2] Мясная лавка, лавка, где продают мясные кушанья, лавка, где торгуют требухой, кишками и прочими внутренностями (*франц.*).

[3] Яйца — птица (*испорч. франц.*).

[4] Магазин, внушающий полное доверие (*франц.*).

[5] «Наблюдению известного раввина Иоеля Галеви Герцога, да живет он многие лета» (*евр.*).

[6] Современная мясная (*франц.*).

Как видите, здесь царит настоящее двуязычие. Наибольшего доверия, впрочем, заслуживает ресторан «Гайфа» на улице Вьей-Дю-Тампль. Ибо, во-первых, вы видите там (выставленное у входа) меню: «Кошер лемгадрин мин лемгадрин» — кошер для самых строгих из строгих, и, во-вторых, потому, что там при переводе не позволяют себе никаких плутней, как в той мясной, которая налево хочет быть современной, а направо «адас Исроел». Здесь, в «Гайфа», переводы буквальны. На двери, например, прибита дощечка: «Fermez la porte s. v. p.»[1] и так как хозяин не вполне уверен, что его посетители достаточно владеют французским, под нею красуется надпись: «Выходя зафермите, пожалуйста, дверь»[2].

*Заметка 2-я.* Pain azyme — так называется по-французски маца. Ни один из тех, кто занимался изготовлением мацы в Шепетовке или Бердичеве, не имел, конечно, ни малейшего представления о том, что его потомки займутся тем же делом в Париже и что перед их пекарнями будут гордо блестеть слова: «Fabrique du pain azyme»[3]. И когда старина Моисей в память лишений времен странствия по пустыне повелел, чтобы ежегодно в продолжение недели евреи ели незаквашенный хлеб, он также, разумеется, не предвидел, к чему приведет его повеление. В парижском гетто — «Ле Плецль» — мацу можно доставать круглый год, и из еды аскетической, из постного блюда она превратилась в конце концов в лакомство.

*Заметка 3-я.* Наполеоновские прокламации, а не какие-нибудь модные словечки или обыденные неуклюжие рекламы; нет, воистину наполеоновские прокламации красуются на больших вывесках крошечных лавок.

«Наша новая механическая фабрика мацы следует системе приготовления американской мацы и печет в чистоте, на лучшей муки, строго кошерно *самую вкусную мацу*

---

[1] «Затворите, пожалуйста, дверь» (*франц.*).

[2] В подлиннике: «Bitte zu fermachen der Tür bei Herausgehen».

[3] Фабрика мацы (*франц.*).

*во всем Париже*. Требуйте всюду *парижскую мацу*, и вы будете гарантированы. На каждой маце стоит №. 1934. Мы получили золотую медаль на выставке 1932 г. Фабрика мацы под гаштохе раввина Иоеля Галеви Герцога».

Перед воротами дома протянут плакат с надписью:

«Здесь во дворе открылась новая Epicerie[1], которая торгует очень, очень дешево. Лучшие и самые свежие схойре[2]. Вообще лучшие фрукты и самые крупные яйца, как на Центральном рынке. А также все вина и пасхальные продукты. Владелец Горав Герцог. Все доставляется на дом. Вы сбережете немало денег**.

И даже уличный торговец, особенно, если он изменил место стоянки, выпускает целый манифест:

«Давид Зоненблум, что стоял здесь у ворот, сделал себе во дворе собственный бутик[3] со *всем* и торгует дешевле, чем всюду. Зайдите убедиться, вы будете поражены! Raisins, Bananes, Oranges, Appl, Barnes, Pommes de terre, Tomates, Cibelas, Karottes, Asperges»[4].

И, перечислив все виды овощей, он большими буквами подчеркивает, что кроме того продает: «Legumes»[5].

*Заметка 4-я*. Лишь тогда, когда Людовик XVI с женою и сыном под эскортом парижских женщин был перевезен из Версаля в Париж и вельможи и маркизы потянулись в эмиграцию в Кобленц, евреи стали селиться в опустевших кварталах парижской аристократии — в квартале дю-Маре и квартале дю-Тампль; зимой 1789 г. туда перебрались только бездомные парижане христианской веры, горемыки мужского и женского пола. Потом этот квартал приобрел дур-

---

[1] Бакалейная ланка (*франц*.).

[2] Товары (*евр*.).

[3] Лавка (*франц.*).

[4] Виноград, бананы, апельсины (*франц*.), яблоки (*евр*.), груши (*евр*.), картофель, помидоры, лук (*евр*.), морковь, спаржа (*франц.*). Здесь юмористический оттенок имеет смешение французских слов с еврейскими на одной и той же вывеске.

[5] Овощи (*франц*.).

ную славу и стал одним из самых дешевых, благодаря чему здесь впоследствии смогли найти свою вторую родину нищие беженцы от погромов из России и Польши.

Все по-прежнему на своем месте — и дворцы, и беднота и евреи, и ни один из этих трех элементов за последние сто пятьдесят лет нисколько не приукрасился. Что касается дворцов, то о них можно сказать только одно: Sic transit gloria mundi[1]. Например, в доме № 16 по ул. Карла Великого, где некогда была резиденция королевы Бианки, матери Людовика Святого, ныне резиденция мадам Коренблум, sage-femme[2], занесенной сюда в качестве транзитного пассажира gloria mundi, и в третьем этаже того же дома обитает Давид Шмулович, профессия которого состоит в обрезании мальчиков, явившихся на свет с помощью той же мадам Коренблум.

На месте дома № 8 по ул. Жарден де Сен-Поль прежде стоял дом человека, пользовавшегося в своей области не меньшим почитанием, чем сам Людовик Святой, а именно — далеко не святого Рабле. Он умер там, где ныне Жак Аксельшвэсс занимается торговлей кишками, и его погребли на кладбище Сен-Поль.

На этом же церковном дворе были похоронены и другие известные люди, и среди них один неизвестный, который как раз благодаря своей неизвестности стал известен в истории: человек в железной маске. Но кто на основании этого сообщения понадеялся бы, что теперь, наконец, выкопав из земли бастильского узника, можно найти также и его литую железную маску, тот впал бы в глубочайшее заблуждение, ибо от кладбища Сен-Поль не осталось ничего, кроме арки ворот, — могилы срыты, и нет никаких следов от костей Рабле, человека и железной маске и других покойников минувших времен. В проходе Сен-Пьер, который ведет с улицы Сен-Поль на улицу Сент-Антуан и в котором вздымает свой горб арка кладбища, Морис Фенкельштэн[3]

[1] Так проходит мирская слава (*лат.*).
[2] Повивальная бабка (*франц.*).
[3] Офранцуженные еврейские фамилии Аксельшвейс и Финкельштейн.

держит теперь лавочку и торгует вином и углем.

Дом № 36 по улице Сен-Поль был тюрьмою Сент-Элуа, дом рядом — служебными помещениями этой тюрьмы, а дом № 12 по улице Карла V — отелем сьера Антонина д'Обре. Его дочурка, прежде чем выйти замуж за маркиза Бренвилье и стать знаменитейшей отравительницей всех времен и народов, съезжала вниз по великолепным, покрытым благородной резьбой перилам лестницы, хорошо сохранившимся еще и поныне. Быть может, девочка уже в то время задумывалась о своем смертоносном будущем, но она, конечно, не думала никогда, что ее дом станет обиталищем монахинь и евреев-торговцев. Конгрегация благочестивых сестер так же мало подходит к этому дому дьявольской составительницы ядов, как и к соседству с мастерскими мацы и с конфетной фабрикой. На улице Жофруа д'Анье, против дворца кардинала Рогана, который попался на удочку афериста Калиостро, анархисты ежевечерне ведут дискуссии по поводу индивидуальной революции и внегосударственного коммунизма, а в самом отеле Рогана, где он принимал ювелиров, которым надлежало подобрать лучшие в мире брильянты и жемчуга для ожерелья королевы, еврейские рабочие-квартирники клеят для торгового дома Самаритен резиновые плащи, — плата за плащ 4 франка, за 10 часов работы можно сделать 10 плащей, если только есть так много работы.

*Заметка 5-я.* Гений места, невероятно консервативный гений, еще витает над этой в прошлом аристократической частью города. Если парики и атласные штаны теперь не служат даже предметом торговли старьевщиков, то их современники, пейсы и лапсердаки, по-прежнему мелькают на улицах. Жители Плецля погрязли в патриархальных представлениях, так что смешанный брак кажется им столь же позорным, как былым обитателям этих мест — мезальянс, и синагога на улице Паве внушает им такое же примерно почтение, какое внушала господам из Лиги церковь Сен-Поль.

В большие праздники приход Сен-Поль уподобляется восточноевропейским общинам Польши и Румынии, с той, впрочем, разницей, что там число синагог и молелен, со-

размерно с числом молящихся, остается почти неизменным, тогда как в Плецле прилив жаждущих помолиться опрокидывает все предварительные расчеты. Биробиджан синагоги опустошает, Гитлер, наоборот, способствует их заполнению. В Судный день все танцевальные залы становятся молитвенными домами, и в округе не остается ни одного здания, квартиры которого от первого и до пятого этажа не были бы обращены в молельни. Покачивающиеся под серебряными окладистыми бородами и молитвенными мантиями тела набивают комнаты и идущую вокруг двора галерею настолько плотно, что рождается опасение, как бы не обрушились перила. Перед входом в дом дети (мальчики в бархатных костюмах, девочки в светлых праздничных платьях) ожидают, когда же, наконец, окончится чтение Торы (несущественная часть богослужения оказывается при этом скомканной) и папа с мамой выйдут на улицу.

Проводят священный день в синагоге и так называемые «независимые умы». Гранильщики алмазов с улицы Лафайет, биржевые маклеры с улицы Катр-Септамбр, «махеры», живущие убеждением, что лишенному подданства и документов они в любой момент могут выправить и документы и разрешение поступить на работу, сегодня соединяются в общий хор кашля и монотонного бормотанья еврейских молитв.

Хасиды, люди, так сказать, профессионального благочестия, руководят этим хором. Характерные типы из гетто, например, Ицеле Менаген и Ефраим Цицик, которые только что торговали в кафе актуальными для Судного дня еврейскими песнопениями, кашляют и молятся вместе со всеми.

Кашляют и молятся вместе со всеми приверженцы воинствующего сиониста Жаботинского; кашляют и молятся вместе со всеми соседи Шварцбарта, застрелившего генерала от погромов Петлюру; кашляют и молятся вместе со всеми друзья анархистского атамана Махно; кашляют и молятся вместе со всеми единомышленники меньшевика Абрамовича; кашляют и молятся вместе со всеми старьевщики с Каро дю Тампль; кашляют и молятся вместе со всеми вла-

дельцы «ателье», в которых плетут туфли из мочалы, вяжут трикотаж, кроят брюки, строчат кожаные пальто, клеят резиновые плащи, утюжат верхнее платье, шьют белье, делают шляпы и снабжают дамские сумки «повтчке» (застежками). Не молятся и не кашляют вместе со всеми и вообще не присутствуют здесь рабочие всей этой мелкой промышленности.

На женской половине обсуждается судьба бас-ехиде[1] Хане, Ганны, которую в бесконечно продолжающемся романе газеты «Гейнт» — «Сегодня» — каждый второй день похищают торговцы живым товаром с тем, чтобы в промежуточный день ее мог спасти из их рук безупречно верный возлюбленный. Соседка из другой части города с трудом понимает речь своей собеседницы: «мои фис уже ходят в эколь» никоим образом не значит, что в школу ходят ее ноги, но что туда ходят ее сыновья, fils[2].

Места в синагоге в день великого еврейского праздника стоят недешево, и для бедняка этот расход означает, что ему придется поститься и на следующий день после поста. И даже состоятельный человек не очень охотно раскошеливается для столь непроизводительной цели. Но что поделаешь? Раз в году приходится приносить жертву ради живых детей, чтобы они выросли в благочестии, и ради мертвых родителей, которые всегда были отменно благочестивы, что, впрочем, не спасло их от погромов, а потомков от бегства в парижское гетто.

*Заметка 6-я.* Рестораны в день поста обычно закрыты, но зато вечером выдерживают совершенно необычайный натиск голодных желудков. Дешевые — объявляют «pri figs»[3] и «Brojd a Dischkretion»[4]. Дорогие — сверкают белыми скатертями, и многие из числа их гостей носят в петлице ленточку Почетного легиона. «Tous le jours spècialites des

---

[1] Единственная дочь (*евр*.).

[2] Игра слов: fils — сыновья (*франц*.); ecole — школа (*франц.*) ); Füsse — ноги (*нем*.).

[3] Твердые цены (*испорч. франц*.)

[4] Хлеб без ограничения (*евр. и испорч. франц*.).

krepleches»[1] возвещается в обеденных меню; далее, мы находим в них Poissons farcis[2], «Nüdelach avec Paveau»[3], lokczen kes[4], gefilté kiszke avec Ferfel[5] (обратите внимание на accent aigu[6] над *e* — это для того, чтобы ученый француз его как-нибудь случайно не проглотил) или «Roti avec Kasche»[7]. «Scholet» — так пишется слово шолет, и здесь консерватизм в орфографии бьет мимо цели, ибо как раз это слово выводится из французского; дело в том, что «пищу богов» в пятницу вечером кладут в теплую постель (chaud lit), чтобы в теплом виде, не зажигая огня, ибо это запрещено религией, наслаждаться ею в субботу.

Fourneau alimentaire, общественная кухмистерская, содержится на средства Ротшильда. Ротшильд среди еврейского мещанства — это знаменитое имя. Разве может быть какое-нибудь еще знаменитее? Впрочем, есть еще одно, которое более знаменито или по меньшей мере было когда-то знаменитее. И это имя капитана Дрейфуса. Этот самый капитан Дрейфус в настоящее время занимает должность инспектора école de travail, т. е. учебного заведения, в котором после начальной школы продолжают свое образование еврейские мальчики. «Он кюмт presque jamais[8], — говорит школьный служитель, пожимая плечами. — Чего вы хотите, ведь aujourd'hui он vieillard[9].

*Заметка 7-я.* В воротах старинного гнезда знати старьевщики устроили склады своих товаров, состоящих из бракованной, с желваками под глазурью, посуды, сломанных канделябров и изношенного платья. Каменные кариатиды,

---

[1] Ежедневно специальность пельмени (*евр. и франц.*).
[2] Фаршированная рыба (*франц.*).
[3] Пряности с маком (*евр. с испорч. франц.*).
[4] Лапша с сыром (*евр.*).
[5] Фаршированные кишки с перцем (евр. и франц.).
[6] Знак закрытого произношения этой гласной, принятый во французской орфографии.
[7] Жареная говядина с кашей (евр. и франц.).
[8] Он почти никогда не приходит (евр. и франц.).
[9] Теперь, старик (*франц.*).

свидетели былого величия, вынуждены терпеть на себе грифельную доску, на которой ежедневно отмечается курс тряпья, старой бумаги, железного лома и деревянного хлама. По-французски эти товары носят название «brocante», и это приводит на память брокат, т. е особый вид парчи; по-еврейски, однако, их называют попросту «шматес». Во дворе в стиле барокко свалено в кучу старое белье и другие тряпки. Боковая калитка, предназначавшаяся некогда для лакеев и не раз использованная маркизой как потайной выход на любовное свидание, служит теперь обитателям дома парадной дверью.

Chiffonier, тряпичник в узком смысле этого слова, живет с тряпок и старой бумаги, и витрина его грязной и затхлой лавки пуста. Многие после того, как начался гитлеровский террор, оклеили слепую застекленную дверь своей лавочки печатными афишами: «Les representants des maisons allemandes ne sont pas reçu»[1].

Гротескная сцена: представители немецких торговых домов, надменные господа в мехах, в правой руке пакет ветхих тряпок, в левой — пачка старых газет, жаждут посетить продавца «шматес» на узкой и грязной улице Прево, но замечают эту афишу и понуро плетутся назад.

Ах, тут не до смеха! Нищий мелкий люмпен-буржуа принял совершенно всерьез ту пропаганду бойкота, которую начали националистически настроенные и религиозные евреи в знак протеста против преследований их единоверцев в гитлеровской Германии. В бессильном фанатизме он оклеил свою грязную лавчонку афишами с объявлением бойкота, и, без сомнения, если бы случилось, отказался от наивыгоднейшего дела с врагами своего народа. Его богатые «созабастовщики», однако, лишь только запахнет прибылью, ни на секунду не задумываются над своим словом, и оптовый торговец, которому chiffonier перепродает свой товар, без зазрения совести ведет дела с Германией наци независимо от того, еврей ли он, этот оптовый торговец, или

[1] Представителей немецких торговых домов здесь не принимают (*франц.*).

француз, или и то и другое вместе. Так возглашенный во всю силу легких бойкот товаров ни в какой мере не остановил потока мерзостей и гнусностей фашизма, и молитвы на улице Паве, и кошерные, еще более кошерные и совсем кошерные мясо и маца, и религиозные посты не помогли евреям как нации избавиться от преследований и не спасли нищего chiffonier'а от его нищеты.

Однако в Плецле живут не только мелкие буржуа, в Плецле, как и в Бельвиле и на Монмартре, живут также десятки тысяч других евреев, и притом таких, которые знают, что в фашистской империи убивают и мучают не их единоверцев, но товарищей по классу, которые знают, что союз бедноты с богачами невозможен, что солидарность на почве общей религии и общего племенного происхождения — утопия. Эти знают также, что они товарищи казненных, заключенных в тюрьмы или продолжающих подпольно работать немецких рабочих. Эти не наклеивают никаких афиш с призывом к бойкоту, эти сомкнутым строем борются против духоты и реакции, за мир без гетто и классов..

# В ПОИСКАХ ГОЛЕМА



I

Он жил в пристройке деревянной синагоги в Воля-Михова, в горном гнезде Лесистых Карпат, и там же, когда нас перевели в резерв, расположилась наша рота. Из Воля-Михова и на Воля-Михова был направлен ураганный огонь, и тем не менее маленький еврей оставался на своем месте и терпеливо сносил постои русских, немцев и австрийцев; один угол комнаты он сохранил для себя, своей жены и одиннадцатилетнего тына и отделил его от остального помещения с помощью занавеса из двух полотнищ па латки.

За печкой лежали книги, наваленные беспорядочной грудой. Многие, очень многие солдаты и офицеры, томимые жаждой чтения, частенько принимались в них рыться, но это были почти сплошь еврейские издания, и они летели

обратно за печку еще до того, как по-настоящему попадали им в руки. Я как-то несколько дольше, чем это бывало обычно, перелистывал один из томов в кожаном переплете, и из вопроса хозяина: «Вы умеете это читать?» возникла наша беседа.

Когда речь зашла почему-то о Праге, он встрепенулся и посмотрел на меня с любопытством; теперь наступила моя очередь поинтересоваться, знает ли он этот город.

— Знаю ли я Прагу? — воскликнул он с блаженной и лукавой улыбкой. Но на мой вопрос, когда он там был, я получил ответ:

— Ни разу в жизни.

— Как же вы можете утверждать, что знаете Прагу?

— Я ее изучил. — И он вытащил из груды книг за печкой потрепанный немецкий путеводитель по Праге. — Я его изучил досконально и ориентируюсь в Праге, может быть, даже лучше, чем пражец.

— Почему вас интересует именно этот город?

— Я надеюсь туда как-нибудь съездить. Прага — прекрасный город. Это колыбель благочестия...

И он предусмотрительно добавил:

— Может случиться, однако, что я отправлюсь совсем не туда...

Позднее, надеясь, что я приглашу его к себе в Прагу, он наконец признался: больше всего его интересует в Праге могила великого рабби Лёва и места, связанные со сказанием о Големе, глиняном человеке, которого некогда вылепил и в которого вложил дыхание жизни знаменитый рабби.

— Где же Голем находится ныне?

Он уклонился от прямого ответа, сказав, что этого точно не знает, но что в Праге, конечно, найдет его обязательно.

Однажды вечером я разыскал за печкой путеводитель по Праге; на плане города были проведены карандашные черты, которые соединяли Старо-Новую синагогу с двумя улочками Юденштадта и оттуда, через Нейштадт и предместье Жижков, шли к краю карты. Во время нашей ближай-

шей беседы я заметил, что как-то слышал, будто Голем находится в Старо-Новой синагоге. Маленький еврей отрицательно покачал головой:

— Я знаю, почему вы так думаете: вам известна вот эта книга, не так ли?

Нет, мне была совсем незнакома та книга в темном кожаном переплете, которую он с уверенностью слепого нашел среди этого хаоса фолиантов и принялся читать вслух.

В предисловии приводились цитаты из критики д-ра Берлинера, доцента берлинского раввинского семинария, который называл эту книгу мешаниной из суеверий и настаивал на том, что ее не только нельзя предавать печати, но следует попросту сжечь, и этому уничтожающему приговору издатель противопоставлял следующие слова: «Подвергнуться сожжению должен тот, кто не верит доказанным фактам».

Обитатель синагоги из Воля-Михова всецело присоединялся к издательской точке зрения; он ни на минуту не сомневался в правдивости содержащихся в этой книге известий, хотя и считал ее недостаточно полной. Он обладал, кроме того, продолжением к ней, рукописной семейною хроникой, о которой, впрочем, заговорил со мной лишь тогда, когда мы стали почти друзьями и я ему торжественно поклялся, что не приступлю к поискам Голема прежде, чем он не приедет ко мне в Прагу. Том в темном переплете он мне все-таки подарил. Текст титульного листа этой книги гласит: «Мейсе пунем (необычайные истории); здесь описываются мауфзим (чудеса) великого и прославленного гаона мира (корифея), нареченного Магарал Мипраг[1], зехер цадик векодош ливрохо (да будет благословенна память благочестивого и священного), которые он совершил с помощью Голема; белошен гакодош ве иври-дейтш (на древнееврейском языке и на еврейском) моузи леор (издано) Гиршем Штейнмецем во Фриштаке, типография Е. Салат в Лемберге, би ш'нас (в году) 5671».

---

[1] Ивр. акроним: «Наставник наш, рабби Лёв из Праги» (*Прим. ред.*).

Книга рассказывает, по какой причине и каким образом после беседы, имевшей место в Градшине между императором Рудольфом II и великим рабби Лёвом, этот последний отнял у Голема им же самим дарованную ему жизненную силу. Аудиенция, данная Рудольфом II рабби Лёву, подтверждается исторически: «Сегодня, в воскресенье 10 адара, года от сотворения мира 5352 (23 февраля 1592 года), — так повествует в своих мемуарах рабби Исаак Коген, — Мордехаю Мейзелю и Исааку Вейслю через князя Бертье пришло повеление императора, чтобы мой тесть рабби Лёв немедленно явился в замок. Согласно этому повелению он отправился во дворец, сопровождаемый своим братом рабби Синаем и мною. Князь Бертье увел моего тестя в соседний покой, предложил ему почетное место и сам сел напротив. Князь расспрашивал о различных таинственных вещах, но при этом говорил так громко, что мы могли слышать решительно все. Оказывается, он говорил так громко не случайно, но для того, чтобы император, который находился за занавесом, мог слышать их беседу от слова до слова. Внезапно занавес распахнулся, и его величество вошел в комнату и обратился к моему тестю с несколькими вопросами, имевшими отношение к беседе, и потом снова ушел за занавес. О содержании разговора мы вынуждены, однако, умолчать, как это принято обычно, когда имеешь дело с королем».

Давид Ганс, математик, историограф и друг придворного астронома Тихо де Браге, также свидетельствует в своей хронике, что рабби Лёв на протяжении всей своей жизни хранил глубочайшее молчание о посещении пражского королевского замка.

Без сомнения, погруженный в астрологию и алхимию пражский Габсбург желал выведать у рабби Лёва тайны каббалистической науки. Что рабби Лёв почитал ее и был с нею достаточно хорошо знаком, мы узнаем из его собственных слов: «Кто понимает эти мои требования, тот знает также, что они покоятся на мудрости Каббалы», пишет он в одном полемическом сочинении; в другом месте он также начинает свою полемику словами: «Когда знаешь Каббалу, наука ко-

торой истинна...»

В упомянутом выше сборнике сказаний моего воля-миховского приятеля причиной смерти глиняного человека считается ночная аудиенция рабби Лёва, которая произошла за два года до аудиенции, засвидетельствованной исторически.

Рабби добился от императора обещания, что впредь никто не посмеет предъявить евреям обвинение в ритуальном убийстве и что еврейский квартал будет огражден от бесчинства толпы. И действительно, и последовавшие за этой аудиенцией пасхальные дни 1590 года не произошло обычных ежегодных эксцессов. Голем, созданный главным образом для расследовании преступлений, которые приписывались обычно евреям, стал не нужен, и его можно было убрать. О том «каким способом Магарал отнял у Иосиле Голема жизнь», рассказывается весьма подробно. Раввинский Пигмалион призвал к себе своего зятя Якоба Катца и своего ученика Якоба Сосона, левитов, объявил им, что необходимость в существовании глиняного колосса отпала, и повелел Иосиле Голему ночевать сегодня не в зале суда, как обычно, а на чердаке Старо-Новой синагоги.

Это случилось в Лагбеомер, то есть в тридцать третий день из девяноста четырех, которым ведут счет между Пасхой и Пятидесятницей. Ровно в полночь трое мужчин поднялись наверх, под крышу. Перед тем, как войти в помещение чердака, Якоб Катц (имя Катц составлено из начальных букв в словах «Коген Цадек» и означает потомка палестинских церковнослужителей) начал диспут о том, может ли он как коген приблизиться к трупу; рабби Лёв разъяснил, что жизнь фигуры, созданной человеческими руками из глины, не есть настоящая жизнь в божественном смысле этого слова, и ее смерть не есть смерть.

Ее смерть не есть смерть. Но христианский романтик Клеменс Брентано, увлекавшийся легендой о Големе, думает, что только слово создает и оживляет. Когда уничтожают слово, уничтожают и бытие: «Мастеру необходимо было от слова “анмаут” (истина), которое он начертал при создании Голема на его лбу, только отнять слог “ан”, чтобы осталось

слово “маут”, обозначающее смерть. И в тот же момент Голем рассыпался в прах».

Однако, если верить нашей книге легенд и сказаний, дело обстояло совсем не так просто. Рабби Лёв, Якоб Сосон и Якоб Катц стали в головах у спящего Голема, — в тот раз, когда они оживляли мертвую форму, вылепленную из глины, они стояли у нее в ногах. Направив свои взоры на его ноги, они начали церемонию: семь раз перешагнули они через тело, произнося таинственные и магические формулы. Во время этого заклинания у двери с двумя зажженными свечами стоял и безмолвно следил за происходящим Абрагам Хаим, старший синагогальный служка. Когда заклинающие переступили в седьмой раз через тело, жизнь его обратилась в смерть, и там осталась лежать лишь одетая в платье земля, онемевшая глина. Маг подозвал к себе служку, взял из его рук зажженные свечи, поставил их в ногах безжизненной фигуры, и с нее сняли платье и завернули в две молитвенные мантии. Восемь рук подняли Голема и положили глиняную колоду под груду наваленных здесь книг и бумаг и постарались скрыть ее таким образом, чтобы ничто не могло выдать ее присутствие. Платье Голема отнесли вниз и сожгли.

На следующий день было объявлено, что Иосиле Голем стал «бройджес», то есть рассердился, и ушел ночью неизвестно куда. А через дне недели после обряда заклятия Голема рабби Лёв издал повеление: впредь никому не разрешается подниматься на чердак синагоги, запрещается также складывать там бумаги и книги, так как это опасно в пожарном отношении. «Но некоторые мудрые люди, — так сообщается в заключении книги, — знали, что Магарал Мипраг издал это повеление только для того, чтобы никто не увидел лежащего наверху Голема».

При чтении этого места мой галицийский оккультист, снисходительно улыбаясь, покачал головой. В его рукописной брошюре рассказывалось о продолжении этой колдовской процедуры, и он смеялся над «мудрыми людьми», которые сочли погребение на чердаке концом всей истории Голема.

Когда я с ним увиделся снова, он уже не смеялся. Это случилось через два года в Вене, в Леопольдштадте; его курчавые виски стали седыми и поредели. Усталым жестом он отверг мое намерение заговорить о нашей тайне.

— У меня теперь другие заботы.

Граната разорвала его сына, это случилось в пристройке синагоги Воля-Михова, и вскоре после этого с его женою произошло нечто ужасное, и он не сказал, что именно.

— Она лежит теперь в «Общей больнице», и у меня нет совсем денег.

Мы зашли в ресторан, он почти не прикасался к еде, и беседа наша не клеилась, ибо наши общие воспоминания были связаны с местечком в Карпатах, мысли о котором он старательно избегал.

— Ну, а Голем?

— Я не стану его больше искать.

— Можно ли мне в таком случае взяться за его поиски?

— Делайте, как хотите.

## II

Предание о том, что чердак Старо-Новой синагоги — последнее убежище Голема, пользовалось широким распространением в течение многих столетий. Когда в середине прошлого века вышло новое издание сочинения пражского актуария Майера Перлса «Мегилат Иохасим»[1], впервые напечатанного в 1718 г. и содержащего рассказы о чудесах, сотворенных великим рабби Лёвом, издатель его утверждал, что фигура Голема все еще лежит на чердаке Старо-Новой синагоги. Львовский раввин Иосиф Саул Натансон решил посетить это место, но ему этого не разрешили, основываясь на том, что запрет рабби Лёва все еще в силе. Незадолго до этого старший пражский раввин Эзекиель Лан-

---

[1] «Хартия наследия» (*древн. евр.*).

дау после длительного поста в молитвенной мантии и молитвенных повязках поднялся на чердак, и пока он там находился, ученики его пели псалмы; через довольно продолжительное время Ландау с расстроенным лицом возвратился назад и возвестил: «Да не осмелится никто больше тревожить последний покой Голема».

Мои попытки получить ключи от чердака поначалу были отклонены. Внутри синагоги нет лестницы наверх, так что на чердак можно попасть только по вбитым в наружную стену железным перекладинам, а это привлечет внимание прохожих на улице. Кроме того, уже имели место несчастные случаи, по поводу которых возникали нежелательные разговоры.

«Kronika Kral. Prahy» Рутше сообщает о запрете, который якобы существовал уже задолго до времен рабби Лёва: «Рассказывают, что после разрушения Иерусалима ангелы перенесли часть Соломонова храма в Прагу и повелели евреям никогда не улучшать эту постройку и ничего в ней не менять. Кто нарушит этот запрет, тот умрет. И случилось, что однажды, когда старейшины еврейской общины решили обновить здание, тотчас же, прежде чем начаты были работы, свалились с крыши архитектор с помощником. Заказчиков также постигла смерть.

С тех пор, как семьдесят лет назад один трубочист по имени Вондреик упал на улицу и умер тут же на месте, наверху не бывал больше никто. До пожара театра на Ринге не было даже железных перекладин снаружи, их сделали только в 1880 году по распоряжению противопожарной полиции. Наконец, я добился от старейшин разрешения влезть на чердак. В 8 часов утра я был уже в синагоге. Господин Цвиккер, честно прослуживший в течение тридцати восьми лет в должности сторожа синагоги, настойчиво советовал мне отказаться от моей затеи, и на мой вопрос, бывал ли он когда-нибудь наверху, ответил встречным вопросом: разве он мешуге, что ли? Пожимая плечами и пробурчав: «Я тут ни при чем», он вручил мне ключи.

Я перелез через решетку, ограждавшую крошечный го-

лый садик со стороны Никласштрассе, притащил лестницу и поставил ее под железными перекладинами, самая нижняя из которых была вделана в стену на высоте двух метров над землей, дабы непрошенный гость не мог вскарабкаться наверх. Чувствуя на себе любопытные взгляды прохожих, я преодолел все восемнадцать перекладин, которые наверху заметно изгибались влево, поднялся до бывшей здесь арки и отворил застонавшую дверь. Я оказался внутри островерхой пирамиды, основание которой бороздили тяжелые волны каменных сводов.

Фундамент синагоги лежит настолько ниже уровня улицы, что даже здесь, наверху, ты находишься в общем не особенно высоко; как раз напротив, на ратуше еврейского квартала, ты видишь башенные часы, стрелки которых движутся слева направо. Через множество слуховых окон сюда проникает достаточно света. Таким образом, здесь отсутствует не только ощущение высоты, но и тот мистический сумрак, который обволакивает вас и гнетет, например, наверху собора св. Витта.

Все же наверху Старо-Новой синагоги ты находишься под впечатлением протекших столетий не меньше, чем наверху собора. В то время, как каменные своды св. Витта и со своей наружной, невидимой молящимся стороны тщательно облицованы и, соединяясь друг с другом, образуют гладкие, одинаково серые, геометрически правильные ряды каменных волн, здесь окончания сводов острыми грудами нагромождаются друг на друга, так что тебе кажется, будто ты видишь горный ландшафт, и перед тобой и под тобой сплюснутые горы и долины.

В христианском соборе по широким, прочным мосткам ты можешь пересечь церковный неф наискось, по широким прочным мосткам ты можешь также пройти и вокруг нефа. Здесь, однако, ты находишь у входа лишь прогнившую доску, и ты испытываешь ее крепость ногою и предпочитаешь отправиться дальше по выпуклым поверхностям сводов или балансировать, держась за стропила и хватаясь руками за балки и косяки, хотя твои руки погружаются в тол-

стый слой пыли, хотя твое лицо непрестанно натыкается на паутину.

Над самой широкой частью здания крышу поддерживает железная подпора; лестница, укрепленная железными скобами, ведет к дымоходу. На полу лежит старая труба от камина и рядом — скелет птицы, нашедшей здесь одинокую смерть. Кроме этого, ты видишь разбросанную гальку и битую черепицу. На деревянных частях растут грибы причудливой формы, среди балок висит вниз головою летучая мышь.

Во впадинах, между набегающими друг на друга сводами, поверх их креплений, щебень благодаря известковой пыли и сырости превратился в конгломерат. Если глиняная скульптура рабби Лёва нашла свою могилу под ним, ее уже никогда больше не разыскать. Чтобы выкопать ее из-под этого слоя, пришлось бы разрушить весь храм.

Вот, поистине, место, чтобы создать Голема и чтобы похоронить Голема, место, поистине, для мистагогов. Здесь было бы наилучшее помещение для лаборатории настоятеля собора Клода Фроло или его еврейского двойника рабби Лёва; здесь была бы самая подходящая опочивальня для мрачного чудовища, независимо от того, зовут его Квазимодо или Голем, здесь как бы специально созданная обстановка для свидания французского короля с человеком, делающим молото и одетым в сутану, для германского императора — с тауматургом в еврейской молитвенной мантии. Ибо что же представляет собой «Notre Dame de Paris»[1] Виктора Гюго, как не ту же легенду о Големе, перенесенную из тесноты пражского гетто в небесную высь башен парижского собора, из духовной атмосферы Баал Шема[2] в атмосферу Пелагия из Эклама[3].

Король Людовик XI прибегает к советам погруженного в колдовство настоятеля собора, и Рудольф II совещается с

---

[1] «Собор Парижской богоматери».

[2] Известен более под именем Израила Бешта; основатель секты хасидов (благочестивых), жил в коние XVII — начале XVIII века.

[3] Ересиарх IV-V века.

рабби, посвященным в таинства и чудеса. Эсмеральда пробуждает в безобразном Квазимодо любовь, и светловолосая дочка рабби, как повествует еврейская легенда, — в пражском двойнике Квазимодо. Погромная чернь осаждает в Праге еврейский квартал, и парижская церковь богоматери также осаждается обитателями пресловутого «двора чудес», вождь которых именует себя «Гунади Спикали, герцогом Египта и Богемии...»

Летучая мышь начинает шевелиться. Когда летучие мыши пробуждаются от сна, они запутываются в человеческих волосах. Голема не видно нигде. Я снова выхожу в нишу, наполовину притворяю за собой ржавую дверь и становлюсь на железную перекладину; затем я окончательно затворяю дверь, запираю ее на ключ и спускаюсь вниз. Число любопытных значительно возросло.

В прихожей синагоги я мою руки в старом медном тазу.

— Ну, нашли ли вы Голема? — допрашивает господин Цвиккер, и в тоне его вопроса любопытство смешивается с тем видом иронии, которую он назвал бы на своем языке necome[1].

## III

Путешествие на крышу Старо-Новой синагоги оказалось, таким образом, безрезультатным; встреча с Големом не состоялась. И это обстоятельство могло бы служить подтверждением уверенности моего информатора из Воля-Михова, что данные книги в темном кожаном переплете недостаточно полны.

Пусть великий рабби Лёв действительно в Лагбеомер лишил своего глиняного слугу некогда дарованной ему жизни, и его погребли на чердаке под макулатурой, «но там его

---

[1] Злорадство (*евр.*).

больше нет, вы можете мне поверить. Его не было наверху уже тогда, когда Магарал запретил туда вход. Абрагам Хаим, шамес, и его зять унесли Голема на следующую ночь после того, как там побывал рабби...»

И мой гостеприимный воля-миховский хозяин с торжественным видом достал из-за печки свое сокровище, шестнадцатистраничную рукопись в восьмую долю листа, писанную еврейским курсивом, с таблицами квадратного шрифта. Он приобрел ее у одного мудрого человека, с которым подружился в Перемышле. И она стоила всего восемьдесят гульденов. Моему наивному другу казалось, что эти бумажные листы содержат все тайны бытия, и когда он разглаживал на них складки, выходило, как будто он их ласкает.

Бедный, доверчивый, суеверный деревенский еврей! В твоих писаниях не говорилось ни слова о том, что граната разорвет твоего сына, что твою жену изнасилуют и она перестанет быть человеком. Там не говорилось также о том, что ты утратишь свою веру в чудесное, что тебе придется оставить родину, что ты в отчаянии будешь слоняться по Вене. Как безразличен тебе сделался Голем, когда я спросил тебя о нем на Пратере. А еще в 1915 году в Воля-Михова ты с такой гордостью объяснял мне на основании рукописи, какой дорогой унесли из синагоги Голема, и собирался отправиться следом за ним, чтобы найти его и снова пробудить к жизни, завершив таким образом попытку служителя синагоги Абрагама Хаима.

В этом последнем тотчас же после сцены заклятия, свидетелем которой он был, пробудилось желание использовать автомат, забракованный самим мастером. «Я запомнил его слова и обряды и силою своего духа, — думал чудотворный шамес, — я также совершу чудо».

Он посвятил в этот план своего шурина и товарища по профессии Абрагама Зехарию, служителя соседней пинкасовской синагоги, и своего зятя Ашера Бальбирера, который занимался всякими мистериософическими вещами и который должен был указать способ возвращения Голема к жизни. Через несколько дней Ашер Бальбирер сообщил, что в книге «Зогар» нашел нужную формулу заклинания.

И трое мужчин откопали ночью Иосиле Голема из-под груды бумаг и понесли его по Белелесгассе и Шебкесгассе — они хотели миновать людную Брейтегассе — в погреб того дома на Цейкерлгассе, который частично принадлежал Ашеру Бальбиреру и в котором он жил.

Там, внизу, они взялись за пробуждение Голема. Они стали подле него так же, как и те трое раввинов, за которыми внимательно следил Хаим, они переступали через него и, невзирая на это, не могли превратить мертвеца в живого. Семь раз они обошли его от ног до головы, непрерывно бормотали они еврейское «восстань, восстань и иди в дальний путь», которое Ашер Бальбирер отыскал в своих книгах. Никто не восстал, Голем по-прежнему лежал как чурбан. Как чурбан, глумился он над всеми попытками возвратить ему жизнь. Ашер Бальбирер был поражен и сконфужен: «Это я называю — быть мертвым». Попытки воскресить Голема возобновились. И так продолжалось ночь за ночью.

Как раз в это время над Прагою пронеслась чума, и двенадцать тысяч человек были унесены ею. Единственным домом, который посетила чума над Цейкерлгассе, был дом Ашера Бальбирера, и двое старших из его пятерых детей были ею задушены. Его жена, фрау Геле, и до этого восставала против переноса Голема в ее дом, ибо опасалась, что в случае разглашения этого факта ее отец, как злоупотребивший доверием, потеряет свое место, а муж и дядя подвергнутся наказанию за нарушение запрета раввина. Кроме того, она не испытывала особого доверия к колдовскому искусству своего супруга. А тут еще заболели ее сыновья! Фрау Геле была уверена, что не кто другой, как Голем, принес их дому несчастье, и когда эти дети умерли, было решено: его необходимо убрать.

После того, как оба трупа были обмыты и положены в гробы и над ними в присутствии пришедших на похороны прочитаны подобающие молитвы, одного из мальчиков тайно вытащили из его гроба и переложили в гроб к другому. В освободившийся таким образом гроб спрятали Голема, и дроги повезли три тела в восточном направлении, на чумное кладбище за чертой города.

Здесь Абрагам Хаим и Абрагам Зехария отнесли Голема на Гальгенберг, «который расположен на расстоянии мили и двухсот клафтеров от ворот Нового города на венской дороге и вечером пятого адара закопали его на той стороне, которая обращена к городу».

Так в рукописи заканчивается история Голема. Основной смысл легенды о Големе — жажда власти и ее преодоление — возводится здесь уже во вторую степень: магу, подражавшему сотворению Адама, в свою очередь подражает слуга, который желает иметь своего собственного слугу и который у себя в погребе тщится при помощи смехотворной абракадабры внушить глиняной глыбе: «Восстань и иди».

Мастер сам положил предел своему святотатству, но подражателя заставляют упорствовать в его суеверном начинании владеющие им суеверия, и он считает своего сделанного из земли гостя разящею смертью и закапывает его на Гальгенберге.

Поразительным, однако, в этой вольно-невольной аллегории, в этой распространявшейся в списках мистагогической дребедени является то, что все приводимые в ней, как, впрочем, и в печатной книге, топографические и хронологические данные точно совпадают с исторически засвидетельствованными. Если упоминаемый в книге зять рабби Лёва, по имени Катц, не встречается больше нигде, то служитель пинкасовской синагоги Абрагам бен Зехария — лицо совершенно реальное. Его могила на старом еврейском кладбище сообщает, что он умер в 1602 году и в продолжение тридцати лет, то есть как раз в то время, которое захватывает предание, занимал свою должность.

Все указания относительно пути мертвого Голема на Цейкерлгассе (Цигейнергассе) и оттуда на Гальгенберг наиточнейшим образом совпадают с планом Праги того времени «Prage Bohemica Metropolis Accuratissime expresse»[1] оригинал которого сохранился в Бреславле. На расстоянии двух с половиной километров от зубцов городских стен с

---

[1] Прага, столица Богемии, тщательнейшим образом изображенная (*лат.*)

той стороны, где Новые ворота, мы видим на карте Гальгенберг с изображением креста и виселицы.

Там, в Жижкове, на невысоком холме из песчаника, который называется «Zidova pece», Еврейская печь, в продолжение многих столетий бедных грешников превращали из живых людей в мертвецов. Последнего из них звали Венцель Фиала, и он был еще совсем молод, работал кельнером и убил свою возлюбленную; 18 июня 1866 года его повесили. Десятки тысяч зрителей глазели на него со специально выстроенных подмостков и с возвышенностей, клоуны, уличные певцы, владельцы балаганов и разносчики сделали на этом народном сборище неплохие дела, а следом за ним пришли день Кенигреца, транспорты раненых, Бисмарк-победитель...

Гром пушек при Кенигреце в 1866... Под гром пушек при Уцоке в 1915-м мой друг из Воля-Михова поведал мне, почему он провел на плане Праги карандашную черту в направлении того холма, на который я только что поднялся, идя по следу погребального шествия времен Рудольфа II, то есть поры широчайшего распространения оккультизма. И вот я стою на этом самом месте, куда привел последний путь Голема. Могила Голема: холм в каких-нибудь пять метров высотою, чахлые кустики сорной травы.

Спускается вечер, уже провыли фабричные сирены, купола часовен на Волшанском и Страшницком кладбищах подернуты сумрачной дымкой; над трубою капсюльной фабрики висит почти неподвижная светлая завеса из дыма, и она напоминает собою трепыхающее полотнище знамени.

На футбольном поле спортивного общества «Виктория» бегает тренирующийся легкоатлет; в шреберовских поселках, которые доходят до самого холма и хижины которых так же убоги, как деревенские отхожие места, фабричные рабочие начинают работать, наконец, для себя. Перед зданием испытательного полигона томится на посту часовой.

Подо мной городская свалка: разбитые кухонные горшки и жестяные умывальники, ржавые консервные банки, изувеченные сковородки, кастрюли, крышки от горшков и терки с гипертрофированно большими дырками навалены

беспорядочной кучей. Окраска этих жижковских доломитов поглощается гуммигутом сумерек.

Любовные пары ищут для себя укромных ложбинок и овражков. Рахитичные дети десяти, одиннадцати, двенадцати лет выслеживают их, как индейцы, чтобы выучиться искусству любви.

Холмы снизу подкопаны: лишь тонкий слой песка, свисая над пустотою, образует крышу пещеры. В любом месте можно было положить гроб с Големом и обрушить на него свисавший над такою пещерой песок.

Трехлетняя девочка раскопала на свалке оловянный ночной горшок, чтобы испечь в нем отличные песочные пироги; мать, которая сидит рядом с солдатом, чуть-чуть в стороне, отшвыривает ногою горшок и бьет плачущего ребенка; любовник матери шумно смеется.

Усталые, сутулые, малокровные люди идут с заводов и фабрик домой, на окраины города, в Грдлорец, Малешиц или еще дальше.

И стоя здесь, на могиле Голема, я знаю, почему так и должно быть, что беспрекословно подчиненный чужой воле и чужим нуждам вечно трудящийся робот погребен окончательно и бесповоротно.

# ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1937 г.

Эгон Эрвин Киш — один из тех писателей, чья творческая работа неотделима от деятельности борца и революционера. Мастер художественного репортажа, он сделал этот расцветший после войны жанр подлинным жанром революционной литературы. Киш начал работать газетным репортером, во время войны 1914-1918 г. служил в австрийской армии, в первые послевоенные годы вошел в практику революционного движения боевым участником выступлений рабочих Вены.

До высот подлинной художественности поднимаются уже его первые очерковые книги «Неистовый репортер» (1924), «Цари, попы, большевики» (1927), сборник путевых впечатлений о стране Советов, «Американский рай" (1929), книга о капиталистической Америке. Художественный репортаж в буржуазной литературе современного Запада делает ставку на «выразительную подачу» факта как такового, на бесстрастную объективность равнодушного наблюдателя. У Киша и выразительность и художественная объективность только выигрывают от революционной целеустремленности его творчества. В этом отношении особенно замечательна его последняя книга «Высадка в Австралии» (1936). Посланный Международным комитетом борьбы против войны и фашизма в качестве европейского делегата на Австралийский антифашистский съезд, он описывает все те мытарства, которые ему пришлось пережить, прежде чем высадиться на австралийский берег: реакционное правительство австралийской федерации всячески старалось помешать революционному журналисту принять участие в работах съезда. Повествование об этих мытарствах и о том, как в конце концов победили стойкость и воля борцов антифашистского фронта, перерастает свою, казалось бы, «частную» тему: в современной революционной литературе Запа-

да это одно из ярчайших произведений, показывающих методы антифашистской борьбы, тактику, необходимую для победы, силу и мощь, которые достигаются единением антифашистов.

Предлагаемые советскому читателю «Рассказы о семи гетто» написаны были после того, как Э. Э. Киш эмигрировал из Германии, где он жил и работал в период Веймарской республики. Австрийский, точнее — чешский еврей по происхождению, он посвящает эту книгу своим единоплеменникам, рассеянным по всему миру. Конечно, эти рассказы и очерки менее всего претендуют на «изображение современного еврейства». В данном случае Киша интересуют отдельные живописные черты прошлого еврейского народа и его своеобразный фольклор. Вот почему так много внимания уделяет он «испано-португальским» переживаниям гордых амстердамских сефардов, с такой настойчивостью отправляется на поиски Голема, колдовского «робота» средневековых евреев. Однако для Киша и эти историко-фольклорные изыскания тысячью нитей связаны с нашей современностью. Что такое «гетто» в представлении Киша? Гетто — все отсталое, ветхое, традиционное, что держит в плену еврейские массы буржуазного Запада, что культивирует пресловутую «исключительность» еврейства, облегчая фашизму разведение его антисемитской демагогии. Гетто для Киша — это еврейское мещанство, веками застоявшееся в недрах «еврейских кварталов», куда его загнало национальное угнетение феодальной эпохи (да и не только феодальной), веками консервировавшее традиции угнетения и горя, которые вытравляют из человека его человеческое достоинство, — именно таков смысл его «фольклорных» анекдотических новелл о «чудаках» гетто. Вот почему, между прочим, так силен антирелигиозный момент в этих очерках и новеллах. И вот почему философско-политическое обобщение, без которого очерки Киша не были бы репортажем революционным, дается особенно наглядно в самой «фантастической» из новелл — в рассказе о поисках Голема. Могила средневекового «робота» пражских каббалистов оказывается могилой всех мистических иллюзий тру-

дового еврейства, даже более — всего трудового человечества, иллюзий, вырастающих в опаснейшее препятствие ко включению в реальную борьбу за реальное освобождение и реальное счастье.

Книга публикуется по первоизданию: Киш Э. Э. Рассказы
о семи гетто. Л.: ГИХЛ, 1937.
Орфография и пунктуация приближены к современным
нормам. Авторское написание имен собственных, топонимов
и т. п. оставлено без изменений.
Издательство Salamandra P.V.V. благодарит А. А. Степанова
за помощь в работе над книгой.

# Оглавление